

От автора

Эта повесть — об извечных муках творцов:
тщеславии, ревности, борьбе с собой.

Герой перемещается во времени
с помощью памяти.

Его мир непредсказуем.

Действие развивается параллельно —
в настоящем и в прошлом.

Переживания на полуслове
сменяются воспоминаниями,
образуя запутанную и трагичную историю.

«И обложу вас жилами,
и выращу на вас плоть, и покрою
вас кожей, и введу в вас дух, и оживете,
и узнаете, что Я Господь».

Иезекииль, 37:6

Ботинки. Невообразимо огромные, циклопьи. Никак не по телу, контуры которого едва-едва проступают под черным куском брезента. Впрочем, тело теперь — условность чистая: машина долго горела. Я смотрю на них — и никак не верится, что эти ботинки, изведав вместе с хозяином ад, остались почти невредимы.

— Не надо туда заглядывать, — твердо наставляет капитан.

Я и не собирался. К тому же это бессмысленно: его теперь, наверное, и экстрасенсам не опознать.

— Ну-ка, повернитесь еще раз, — врач слепит фонариком.

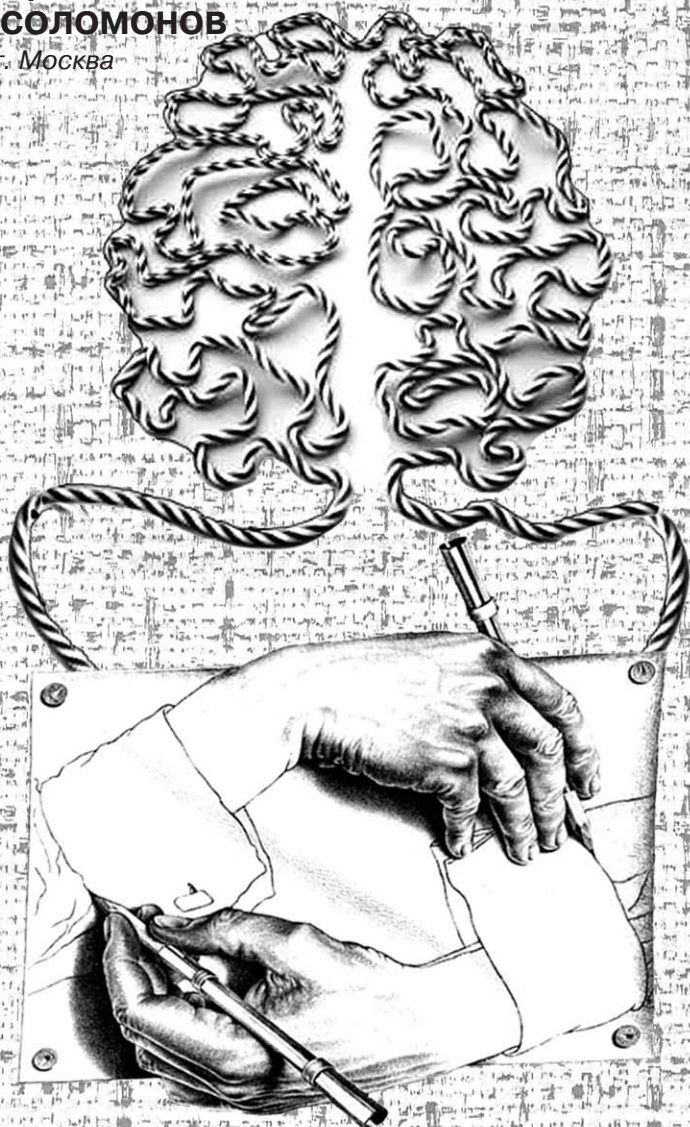
Отвел луч — и небо вокруг покрывается синезелеными пятнами.

— Голова не болит?

Пожарные уехали, а «гаишники» с желтыми рулетками апатично прохаживаются вокруг груды смятого и почерневшего железа. Так изнемогший от шопинга муж таскается с пакетами за женой по очередному торговому центру. Дорога пуста и тиха, и я отчетливо слышу все разговоры. «Что завтра-то делаете?» — «Да вот, хотели к Светкиным родакам на денек, только у них там скандалешник — чума! Дерево на соседский участок упало и теплицу разгрохало. Теперь разбираются: соседи хотят до фи́га, Светкины не хотят ни фи́га...» Тело обуяла тряска — его клет-

Юрий
СОЛОМОНОВ

г. Москва



ПЕЙЗАЖ На Тройке

повесть
журнальный вариант

ки, все до последней, захвачены в плен неизвестным врагом и трепещут в ожидании зверской расправы. «Н-да, это точно надолго! Слышь, жмура заснять бы, пока не увезли!» — «Для твоей домашней коллекции, что ли?» В голове звенит, как от поцелуя в ухо. «Какой еще коллекции? Вдруг это тот, который из «бэхи»? Потом на телевидение толкнуть можно будет». — «Без тебя найдется, кому толкнуть. Пол-Москвы уже, наверное, знает». Черный каркас фургона еще дымится. Подойти бы к этому обуглившемуся куску металла и прижаться покрепче! Так в омертвелом зимнем парке мечтаешь породниться с бумажным стаканчиком, полным жидковатого чая.

— И чего он тут забыл в шесть утра! Начальство теперь мозги заездит, — качает головой капитан. Он следит за вялыми манипуляциями коллег, а потом поворачивается ко мне и долго смотрит равнодушно-оценивающим взглядом, точно на редкого паука. Вдруг его непроницаемое лицо сморщивается. Это он сощуривает глаз в добрый, сочувственный полуподмиг.

— А тебе свезло! Свез-ло-о-о! Спасибо скажи тому вон парню. Это он успел тебя подальше оттащить.

Только теперь замечаю: на обочине, опасливо косясь на кювет, стоит «Волга» — некогда благородно белая, а нынче вся в ржавых веснушках. Водительская дверь открыта, а на сиденье — молодой человек. Я вырываюсь из рук у недоумевающих врачей. Он выпрыгивает мне навстречу.

— Ну, ты счастливчик, брат! Я, когда ехал, еще за полкилометра огонь увидел. Смотрю, горит тачка, а ты рядом лежишь и того... вообще не шевелишься. На всякий случай отволоч туда, где попрохладнее, хы! А ты во как — очухался!..

Хочется сказать что-то, подобрать какие-то подбавляющие моменту признания, но язык точно подморозило. Руки в карманы — и шагаю. Взад-вперед, затем по кругу, а потом — вдоль дороги, даже не думая о направлении. И, лишь услышав оклик одного из инспекторов «Куда, куда?!», осознаю, что и правда должен куда-то пойти. Вот только куда именно?

— Ты не спеши, с тобой тут еще хотят пообщаться, — добавляет капитан, все так же оценивающе меня оглядывая. Вот-вот кого-то во мне узнает. Но нет, не узнал: взгляд отпускает меня и принимается блуждать по окрестностям. Вдруг глазные яблоки вылезают из орбит:

— Генерал!..

И, потрясывая боками, капитан несется к вырвавшейся из-за поворота «мерседесу». Все. Больше меня не трогают. Доктора из «скорой» с минуту подозрительно посматривают, но затем пожимают плечами и идут к брезенту. Они уже не поворачиваются в мою сторону — будто я тоже умер и никуда не денусь. А может, я и правда умер? Чувствую на лбу ледяную каплю. Еще одна прицельно бьет прямо в темя. Сверху, из крохотной рваной тучки, сочится робкий до...

* * *

...ждь не мог нас остановить. Не имел права: мы слишком долго сюда вскарабкивались. К тому же тучи никак не могли договориться между собой. Они то сбивались вместе, то разбежались и вновь выпускали солнце — постаревшее, готовое сдать полномочия сумеркам.

— Эге-ге-ге-гей!

Эха не было.

— Э-э-эй!.. Я-ху-ху-ху-у-у!..

Ветер вырывал гласные прямо изо рта и тут же давил их неистовым воем. Невозможно было ни на миг наполнить собой тот бескрайний простор, что колыхался вокруг триллионами веточек, травинок и колосков. Изнемогая в жарких объятиях июля, мир покорно ждал своего заката. У подножия мохнатого холма, на котором мы стояли, играло бликами искусственное озеро. Где-то в его глубинах пряталась затопленная электростанция: то здесь, то там из воды торчали верхушки столбов. За пятиэтажками поселочка, выглядывавшими из лесной зелени на дальнем берегу, доносился монотонный гул шоссе. А внизу, под холмом, ежился под редкими каплями одинокий рыбак, пристроивший свой поплавок на мелководье — среди банок, пакетов, автомобильных шин и прочего хлама цивилизации...

Чем неизбежнее казалась гроза, тем быстрее я опорожнял бутылку — назло всему: погоде, работе и быстротечному времени. В кои-то веки вырвались с другом на природу-матушку — и на тебе: даже тут не расслабишься! Я прикончил остатки пива и стал озираться, выбирая подходящую мишень, в которую можно метнуть опустевший сосуд. Танк, в который полетит граната. Но тут вместо грома... заголосила эта мелкая

тварь у меня на поясе! Как всегда, вовремя! «А пусть себе! Нет меня. Я оглох. Сдох. Ушел». Бесплезно: тварь не унималась. Минуты две она вопила, потом сделала секундный перерыв и снова принялась верещать. Я вытащил ее. Ну, разумеется! Тот самый номер, который и в записную книжку вбивать не требовалось: я его помнил, как день рождения матери. Игнорировать бесполезно: звонки продолжались бы до утра. А сбрасывать — невежливо. Все-таки давний пациент, хороший приятель и... вообще, он много чего для меня сделал!

— Алло!

— Федор Львович, здрастье! Это от Николая Валентиныча! Соединяю вас...

— Теодор, приветствую!

— Здорово! Как бок? Не колет больше?

— Бок в полной кондиции! Тут другое дело есть. Важное.

— Ну говори, говори!

— Не по телефону.

— Давай тогда завтра в клинике. Или хочешь, в четверг сам заеду...

— Не-е-е, Теодор, сейчас нужно. Срочно!

У него все сейчас, все срочно! Закружилась голова — везите в реанимацию, занозил палец — оперируйте, заболел живот — сразу хоронить, да лучше в мешке с негашеной известью! Более вдохновенного больного на свете не существовало.

— Коль, я вообще-то выходной сегодня. На пленэр махнули с другом, и я уже малость на грудь...

— Не проблема! Я машину пришло.

И вот она опять — Первопрестольная! Замелькала, растреклятая, за тонированными стеклами казенного авто. Я жалел, что не успел захмелеть — не так бы злился. Дождь все-таки ливанул, и это могло бы отчасти утешить. Но не утешало. Серая краска, ставшая королевой вечера, только подпитывала депрессию.

Машин, вопреки вечеру вторника, на Тверской было немного. Зато думский подъезд трещал от народа. Как и приемная Валентиныча — все знакомые давно так звали Кольку. Когда я вошел, никто даже не обернулся. Секретарша всецело отдалась обсуждению особо важной бумаги с особо важным юнцом — видимо, обществеником. Он усердно пытался добавить

деловитости в свой облик, но все равно выглядел как провинциальный поэт: сальный волос, взгляд с безуминкой и потертый костюм с короткими брюками, бессильными скрыть ярко-красные носки. На диване, приосанившись, восседала партийная челядь, различавшаяся между собой скорее фасонами дорогих ботинок, нежели лицами. Лица же были устремлены на дверь, за которой Колька нервно покрикивал в телефонную трубку:

— Ваше дело. Можете поступать, как считаете нужным. Но я уже сказал: либо сами все исправите, либо вас вызовут в прокуратуру.

Присесть было некуда, а выходить в коридор не имело смысла: там ждут до старости. Вошел в кабинет без приглашения. И я в который уже раз принялся разглядывать висевшую над диваном картину. «А жизнь-то продолжается», холст, масло. Одна из ранних его вещей — еще с прежних времен, до славы, до живописи на заказ, до депутатства — до всего, что он есть теперь... Лесная поляна в утреннем свете. Трава блестит росой, деревья предвкушают теплый полдень. А посреди поляны валяется человеческий череп. Сквозь глазницу тянется вверх зеленый побег, на который присела крохотная птичка. Каждый листок пейзажа прописан с невероятными тщанием и терпением — качество, быстро обеспечившее Кольке презрение высококолых интеллектуалов от искусства. Но именно эта любовь к ультрареализму помогла ему со временем стать портретистом — великим или посредственным, судить не мне, но успешным в любом случае. А успешный портретист рано или поздно достаивается не только насмешек, но и много чего другого. Например, влиятельных друзей. А там — и поклонников, и наград, и заказчиков, и, как вариант, этого вот черного кресла, которое Валентиныч энергично раскручивал, пока отчитывал телефон.

— Не надо мне здесь сказок! Я знаю, что они сделали и что вы сделали. В общем, все теперь от вас зависит. И я прослежу! Всего хорошего!

Он шваркнул трубкой и стал хмуро оглядывать комнату, словно не видя меня. И вдруг морщины на его лбу разгладились.

— Теодор! — воскликнул он ободренно.

— Знакомым вот помогаю, — пояснил Колька, указывая на телефон. — У них там с ТСЖ проблемы, а я на правах тяжелой — хе-хе — артиллерии...

Он вышел из-за стола и приобнял меня за плечи:

– Пойдем-ка в буфет! Ты мне до смерти нужен!

И мы пошли — только не в тот крохотный буфетик, что был на этаже, а в нижний — просторный, шумный, с неиссякаемой очередью и «без лишней акустики». Даже если он заскакивал на разговор, то все равно набирал жратвы, как на бригаду строителей небоскреба. «Пару свиных котлеток! Нет, пусть будет три!» — «Без гарнира, Николай Валентинович?» — «Н-да, вы правы, без гарнира негоже. Бросьте сюда еще плова...» И он уминал все это с какой-то недочеловеческой, первобытной яростью. Я всегда потрясался ей: столь стремительному пережевыванию человека учит только армейская жизнь, а Валентиныч утверждал, что никогда не служил. И вот сейчас этот рекордсмен чревоугодия сидел напротив и вдумчиво давил ложечкой... пакетик зеленого чая. Не иначе как признак очередного опасного недуга.

– Федь, мне нужно... Скажи, как лечат лунатиков?

– Кого?

– Ну, лунатиков! Тех, которые по ночам...

– А-а, сомнамбулизм? Это — к невропатологу.

– Да погоди ты! Лишь бы отмахнуться! Что ты об этой болячке знаешь? От чего она?

– Ну, как сказать... Если совсем упрощенно, то во время сна не все участки мозга тормозятся. Прежде всего, запаздывают те, что отвечают за движения.

– А это лечится?

– В принципе, лечится. Но ты-то тут при чем?

Его взгляд то беспокойно метался по залу, то застывал мутным осенним льдом, полностью утрачивая направление.

– Я хочу, чтобы ты меня обследовал!

– Те-бя?!!

– Да! Ме-ня! — растянул он слова, подражая мне.

Я, конечно же, был готов к новой вспышке ипохондрии и даже прикидывал про себя различные ее варианты. Язва, сепсис, рак — все это он уже у себя выявлял. И я давно составил список пространных ответов, которые полностью изничтожали страшнейшие опасения без лишних поездок в клинику. Но сомнамбулизм... Профессор, простите, этот билет я не выучил!

– Коль, я терапевт. Не совсем мой профиль...

– Профиль, профиль! Что ты все время о профиле! Шикарный у тебя профиль — это я тебе как художник говорю! Желудок тоже вроде бы не совсем твоя епархия, а вон как ты в тот раз меня выручил!.. — не отставал он.

– Но сон же — тонкая материя! Там и оборудование нужно, и знания...

– Тихо! Не ори тут! Думаешь, для меня знания — главное? Мне нужен человек, которому я могу доверять.

– За доверие, конечно, спасибо, но... Какие симптомы? Ты просыпался не в постели? Кто-то из домашних заметил, как ты ночью ходишь или разговариваешь?

– Нет, ничего такого. Здесь сложнее... Слушай, а лунатики только ходят и говорят или могут что-то еще делать?

– Ну, разные бывали случаи. Иногда по телефону умудряются звонить. Есть предположения, что они даже способны водить машину, но это, скорее, домыслы. Нужна быстрая реакция, а ее то как раз и нет. Но ты... Ты что за собой заметил?

– Помнишь про наш уговор? — Коля пытался давить на меня.

– Хватит уже! Сомневаешься в том, что я твой друг, — так верь хотя бы, что я врач!

– Ну ладно, ладно, не вскипай! Понимаешь... Мне кажется, что я пишу во сне...

– Чё?..

– Пишу. Рисую то есть...

И мы замерли, каждый в своем молчании. Он — в выжидательном, я — в отупелом. Не скажу, что я выдающийся эскулап. И на кандидатскую-то времени не хватило. Но и у меня были успехи, дающие, по крайней мере, право на репутацию компетентного парня. А тут я впервые не знал, что ответить. С одной стороны, все, что связано со сном, еще мало изучено. И те, кто сегодня вопит: «Невозможно!», — уже завтра могут оказаться вчистую посрамленными. Но ведь передо мной был великий «диагност» Николай Валентинович Северцев! Каждую вторую его жалобу я воспринимал бы как шутку, если бы не знал, что он не шутит о своем здоровье. Смушал и другой факт, известный далеко не только мне: за последние годы Валентиныч почти забыл, как держать ки...

* * *

* * *

...сть катится по полу, гонимая потоком воздуха из распахнувшейся двери. Она суха и больше не оставляет черных отметин на паркете. Нелепо и странно видеть ее в таком виде здесь, в этом святилище порядка, где каждый тюбик и карандаш имеют свое извечное место. Но кисть — лишь провозвестница бедлама, охватившего мастерскую. Уже из прихожей заметно: мольберт опрокинут, полки, разгромленные, еле держатся на стенах, картины, прежде, по-видимому, стоявшие вдоль этих стен, разбросаны по полу. Некоторые порваны... И надо всем витает тошнотворный, въедливый запах испуга. С четырех сторон затравленно смотрят изувеченные вещи — будто бы опасаясь, что я продолжу начатое побоище, и робко спрашивая: «Ты чего?» Да нет, я ничего, у меня, друзья, теперь просто есть ключи от этой мастерской. Так давно мечтал побывать здесь, столько размышлял об этом месте, но поспел уже к пепелищу.

Первый ли я гляжу на руины? Поднимаю валяющиеся на полу склянки с разбавителями, обыскиваю одежду в прихожей, включаю свет в ванной, перетряхиваю пепельницы в поисках еще теплых окурков — жду хоть малейшего знака, намек на то, что здесь уже были, что это кто-то из них прибежал сюда — грязный, запыхавшийся, одуревший, с кровью на лице... Надеюсь, что воздух еще полон густым отзвуком его беспорядочных шагов. Но комнатный сумрак холоден. А битва с вещами случилась не позже, чем Крымская война.

Сбросив с дивана мусор, сажусь и пытаюсь хоть немного успокоиться. Руки все равно трясутся, точно живут своей, отдельной от остального тела, жизнью. Зажимаю их между бедрами и закрываю глаза. Под веками еще какое-то время подрагивает квадрат окна, ущербный и неправдоподобный — с оранжевой рамой и черной ночью внутри. Ящеричный хвост реальности, вырванный из нее последним взглядом. Так, в неестественной позе, я сижу в этом странном помещении, некогда бывшем обычной московской квартирой. А тьма, что зародилась за моими опущенными веками, час за часом погружает во мрак челове...

...чество всегда карало исключительно шарлатанов-лекарей, а шарлатанов-больных почему-то никто и пальцем не трогал. Хотя крови, поверьте, они выпивают не меньше. Я не сомневался, что с Валентинычем все вновь закончится здраво. Но о том, чтобы отказать ему, речи не шло: во-первых, он все равно бы не отвязался, а во-вторых, предлагал хорошие деньги. В общем, я оказался бессилён, как клоп перед пылесосом. Взял короткий отпуск, несколько смен белья, любимый кофе — и съехал на дачу, где Колька жил с тех пор, как стал народным помазанником. И поскольку я терял как минимум неделю жизни, то решил до дна испить ту чашу возможностей, что дарует загородный быт бледнокожим сынам мегаполисов. С утра — рыбалка, днем — прогулка по лесу, вечером — чтение на открытой террасе... Мечта, из высокого царства которой меня мигом сбросили в пресную действительность. Дневная жара раскалила и ночи: они стали душны до барабанной дробы в висках. Я не находил себе места. То, объятый жаждой воздуха, выскакивал на балкон, то возвращался в кресло и снова брал книгу, то тащился на кухню за стаканом воды. Валентиныч тоже ворочался и кряхтел, не в силах договориться с Морфеем. Вяло сопеть он начинал лишь перед самым рассветом, уткнувшись в спинку дивана. У меня же не получалось ни поспать утром, ни прикорнуть после обеда. В итоге обострились мои проклятушие боли, и я стал все чаще припадать к коробочке с таблетками. С нею мы неразлучно сожительствовавали уже давненько — с самых первых послеординаторских годов.

Я поймал ее на рыбалке со старинным корешем — аккурат в Новый год. Хмурый, бессолнечным утром, исполненным какого-то сырого мороза, от которого хочется кашлять, даже если ты совсем здоров, мы затосковали по любимому промыслу. И, наскоро собравшись, вылетели на озерный лед прямо на «Ниве». Нет, не провалились. Напротив, нашли хорошее место, провертели лунки и даже по разу что-то из них вытянули. Но накануне мы пережили бурное застолье, а холод стал железобетонным оправданием для опохмела. И на обратном пути, уже в темноте, мой друг чересчур лихо разогнался и чересчур поздно заметил, что машина подлетает к берегу.

Резко затормозив, он раскрутил «Ниву» и завалил ее набок. Дверная стойка оказалась слишком жесткой. Почти сутки я не приходил в сознание, а в память об отдыхе получил косой шрам у виска. И эту самую коробочку.

Чем пустее становилась она, тем раздраженнее — я. И оттого, что не видел у Валентиныча никаких признаков сомнамбулизма, и оттого, что заранее знал: их не будет. Близкие Кольки — а их круг после его развода ограничивался полуслепой и практически глухой стряпухой Надеждой Ивановной — не припоминали никакого «сноживописания». Да и живописать здесь было особо негде: ни тебе мастерской, ни даже угла с мольбертом или этюдником, на котором бы Валентиныч, как он раньше любил говорить, «лессировку лессировал». Тем загадочнее выглядели работы, которые мне вдруг показал Валентиныч. Это были небольшие рисунки — акварель, карандаш, пастель... Сам я мастихинов от муштабелей не отличал — тот еще знаток! Но и у меня были любимые мастера. Память иногда даже сохраняла манеру отдельных художников: время от времени я узнавал их полотна, еще не успев найти музейной таблички с мелкой подписью. И сейчас чувствовал: стиль до безумия похож на Колькин...

— Да что я, в самом деле, свою работу не признаю?! — Валентиныч раскладывал листы на столе. — Ты вот свой почерк отличаешь от других? Так же и здесь. Я вижу, что это — мое.

— И в чем проблема?

— В том, что я совершенно не помню, как это рисовалось.

— Ну, может, давно было? Забыл! Я вот ни за что не процитирую всех рецептов, которые за месяц выписал. А уж за год — и подавно.

— Шуткуете, милостивый государь? Я все свои работы помню! Как и что писал, помню!

— Каждый набросок?

— Это что, по-твоему, набросок?! — он схватил со стола карандашный рисунок. Косые струи нездешнего, тропического ливня разбиваются об асфальт. Небо — одна сплошная туча, по краям которой лютуют молнии. И в их отсветах за пеленой дождя видна фигура человека в плаще. Лица не разглядеть — скрыто шляпой. Но ощущение, что оно вот-вот покажется: человек оборачивается, точно на крик.

— Это набросок?! — уже вопил Валентиныч.

— Это готовая работа! Причем далеко не самая провальная!

— Ну, а если... Если ты тогда работал над несколькими вещами? Более крупные запомнил, а мелкие...

— А это? — он не слушал. — Тоже набросок?!!

Пастель. Все контуры немного размыты: морское дно. Зеленоватая вода, камни, водоросли, а в самом центре — слегка занесенное песком тело утонувшей девушки. Кажется, даже заметно, как колышутся волосы...

— Ты посмотри, посмотри, глаза раскрой! — Валентиныч совал работы мне в руки. — Каждая из них — история! И все детали прописаны. Если это — эскизы к моим картинам, найди у меня хоть одну похожую вещь!

Пейзаж. Залитый солнцем луг, усталое великовозрастное дерево, дремлющий вдалеке лес, желтый домик с резным крылечком... Только все — прогнутое внутрь, точно вытягиваемое в вакуумную трубу. Кто-то рассматривает этот микромир через лупу. «Глаз насекомого» — поясняла надпись на обратной стороне.

— Понюхай! — продолжал Северцев. — Не так давно все сделано — вот в чем штука! А я не помню!

— Так, может, переутомился? Не замечал в последнее время, что стал более рассеянным, медлительным?..

— О! Новые работы? Пытаешься вернуться к музам? — в дверях с надменно-ироничной улыбкой стояла Лена — бывшая Колина жена. Десантировалась из города в самое пламя диспута.

От неожиданности я даже не сообразил, что не худо бы поздороваться. Молчал, разглядывая ее пожарно-красные туфли на небоскребных каблуках и прикидывая, что было большей его ошибкой — женитьба или развод. Северцев же, для которого эта крохотная, но искусно вылепленная фигурка и горящий черным огнем взгляд в свое время были сильнейшими раздражителями, на появление Лены вообще не отреагировал.

— Я за вещами Вадюши, — произнесла она тем же нарочито холодным тоном. — Ты в тот раз, когда привозил его, забыл почти всю одежду.

— Лен, — я, наконец, вышел из ступора. — А ты уверена, что эти работы — новые?

— Ну, раньше я их не видела! Или он хорошо прятал, — бросила она уже через плечо.

Ей можно было верить — и даже больше, чем

ему. Лена давно стала крупнейшим специалистом по всем периодам творчества Валентиныча. Она не получила блестящего искусствоведческого образования — просто хорошо считала. В прежние, еще счастливые, их годы часто бывало так. Сидим здесь же, на даче. Тихо, без лишнего гламура и статусных «випов». Банька, пиво, девушки пытаются перещебетать сидящих в черемухе соловьев — словом, судьба оформила отгул за свой счет. Кто-нибудь из новых гостей начинает расслабленно расхаживать по дому — и понемногу рассматривает картины. У одной он задерживается дольше, чем у прочих. А потом снова возвращается: «Нет, это вот — просто чудо! Какие цвета, какая живость!» А Валентиныч и для безыскусности таких комплиментов уже вполне взогрет Бахусом. «Правда?» — вдруг выдыхает он с застенчивым видом толстухи, которой внезапно — то ли из интереса, то ли шутки ради — сказали, что у нее стройный стан. И тут же снимает картину со стены: «Возьмите! Это — ваше!» Гость, еще не веря происходящему, даже не решается ухватиться за раму. «Ну что вы! — вскрикивает он. — Не стоит, не стоит! Я совсем не поэтому...» «Берите же! — Северцев буквально пихает его картиной. — Я тоже не поэтому и не потому. Просто хочу, чтобы это было вашим». И нерешительные пальцы гостя уже почти сжимаются на раме, как вдруг с террасы звучит зычный голос Лены: «Коля, ее же Смеянов покупает! Я давно договорилась!» «Кто? Когда покупает?» — ее деловитость моментально сбивает мужа с толку. Гость отдергивает руки. «Кто-кто! — Лена встает из-за стола. — Не делай вид, что не знаешь! Он уже послезавтра за ней придет! Ты б хоть спрашивал у меня, когда стаскиваешь со стен все подряд!» Сконфуженный гость пытается сбежать на террасу, но Северцев хватает его за локоть: «Подождите! Это как-то нехорошо получается. Давайте я вам что-нибудь другое...» «Н-н-нет! Что вы, Николай Валентиныч! Я бы и эту не взял!» — и под испепеляющим взглядом Лены гость торопится назад за стол. Туда же медленно заползает и Колька, на ходу бормоча: «Черт возьми! Какой Смеянов? Откуда взялся?» Впрочем, он быстро затихает, а картина водворяется на прежнее место, где и висит долгие годы.

Я тогда тоже завис капитально. Уже давно иссякли и отпускные дни, и запас шаблонных объяснений перед клиникой, и таблетки в корбоч-

ке; сам я стал «совой», вольготно разгуливающей ночью и цепенеющей днем, а в Валентиныче все никак не открывался «художник-сомнамбулист». Я успел обследовать с десятков его гостей из числа таких же ипохондриков и дать сотню рекомендаций праздно интересующимся — но это не искупило бессмысленность положения. Наконец я плюнул, хлопнул на шее комара — и заключил:

— Не рисуешь ты по ночам. И не встаешь даже. Да и сон у тебя более или менее ровный — насколько он вообще может быть ровным в такую жару. Если хочешь, позвоню нашему невропатологу, и он положит тебя на обследование. Но, по-моему, ты дуркуешь. Все, не морочь больше гол...

* * *

...ову истязают лилипуты-молотобойцы, а легким тесно в грудной клетке. Обежал все соседние дачи, кабаном промчался по лесу, дважды огибал пруд — и вот стою перед грядущим ноябрем, как перед отверстым студеным погребом. Никому, никому ничего не могу объяснить. Да и что объяснять другим, если сам не понимаешь. Здесь, как и в доме, где была мастерская, меня никто не вспомнил. Изнемогши от беготни, бестолковой и суетной, присаживаюсь на крыльце у пустой террасы, о которой знаю столько всего. По холму расползлась березовая рощица, жестоко прореженная другими дачными участками. Там и сям алеет металлочерепица. Вдалеке воет от тоски одинокий товарняк. А сверху гулким куполом нависло синее вечернее небо без единого облачка. Все-таки даже в эту тоскливую пору, когда каждый день — понедельник, милы и трогательны в своем унынии эти места. Не кишат грибниками леса, глинистая почва никогда не возрад сторицей мичуринцам, а пруд уже не влечет романтиков с лодочками. Но приятно свежит сыроватость еловых чащ и бодрит прохладная вода родников с легким железистым привкусом. Жизнь тиха, неспешна и вечна. Только все вокруг необратимо драпируется черным. Но я не боюсь этой черноты. Я не верю в нее до конца, как до конца не верю ни во что происшедшее и происходящее. Я — валун в речном песке. Вода то накатывает, захлестывая, то отступает. Я то слышу все, что несется из приемника, то не слышу ни-

чего. «...Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», однако не исключено, что оно может быть переквалифицировано. Представители следствия пока отказались сообщить, кому принадлежат обнаруженные на месте происшествия обгоревшие останки...»

Неужели и они не знают? Почти два дня прошло. И все это время, наверное, под меня копали — а под кого еще? Уже дважды звонили — и я брал трубку. Странно, но было совершенно не страшно — как в компьютерной игре. «...Автомашину Северцева обнаружили пустой неподалеку от его дачи. По данным следствия, она попала в дорожно-транспортное происшествие, однако был ли сам депутат за рулем — пока точно не известно. Николай Северцев, известный живописец, входил в комитет по культуре. Он активно занимался вопросами охраны наследия, а в последние годы работал над созданием фонда, который помогал бы молодым и талантливым художникам...»

Снова оглядываюсь вокруг. Не знаю, куда еще идти, где искать, у кого допытываться. Вырубаю приемник и опять закрываю глаза — чтобы, как Декарт, уединившись в темноте, принудить себя к логике. Но мысли — голуби, которых заманивают крошками. Они подходят совсем близко, почти дают прикоснуться к себе, но в последний момент — порх! — и нет их. А взамен — вдруг только одно, тяжелое и жгучее: кто же?! Кто из них? Когда встаю, вокруг опять глубокая ночь. Вслед за сбежавшим солнцем спускаюсь по тропинке, змеящейся вокруг стилого пруда. Коря себя за то, что везде застреваю так надо...

* * *

...лго это торжество осело у всех в головах! С тех пор как Лена и Коля «расстыковались», его дни рождения перестали быть тщательно организованными светскими раутами и превратились в посиделки с легким налетом церемонности. Именинник ничего заранее не готовил и никого не приглашал. «Кто помнит — тот знает». Куча народу помнила всегда, еще больше — спохватывалось время от времени. Но того, что приключилось в тот день, доселе не видывал никто. Обычно Валентиныч терпеть ненавидел всякие здравицы, и, когда кто-нибудь случайный и не в меру подпивший вдруг начинал свои

«сю-сю-сю», хозяин поворачивался боком к столу, склонял голову и замирал, настойчиво внушая окружающим: «Я — призрак бестелесный, и меня вообще здесь нет». Но в этот раз я застал Северцева в роли тамады, сыпавшего витиеватыми речами, которые с каждым часом становились все труднее для понимания: к концу тоста оратор забывал, с чего начал. Самые ранние гости шепотком и многозначительными взглядами намекнули: когда они только приехали, маэстро уже был навеселе. Явление, понятно, редкое, поэтому, несмотря на всю неловкость, никто не думал расходиться. Когда резерв тостов исчерпался, последовали анекдоты, от которых багровели уши самых закоренелых скабресников и пошляков. Дамы неодобрительно качали головами, а их мужья то и дело прыскали в кулаки. Но и это был еще не апогей. «Танцы!» — вдруг рявкнул Валентиныч. Он врубил музыку на полную катушку и козлом запрыгал по террасе. На свою беду, гости слишком долго сидели в нерешительности. Чтобы подбодрить их, Валентиныч попытался подхватить на руки первую же оказавшуюся поблизости женщину — жену то ли его школьного товарища, то ли какого-то галериста. И, не рассчитав сил, грохнулся с нею на стол. Половина стола, в свою очередь, тоже грохнулась — вместе со всем, что на ней было. Так и стоит перед глазами эта сцена. Несчастливая барахтается на полу, из последних сил пытаясь изобразить веселость, хотя слезы уже заливают лицо: слишком сильно ударилась. Часть гостей растерянно и безуспешно оттирает с одежды майонез, кетчуп, жир от гуся и прочую вкуснотень. Другая часть робко отворачивается. А Северцев, распластавшись посреди террасы и блаженно прикрыв глаза, медленно произносит: «Всем шухер! Я, кажется, пернул».

Когда я волок его наверх вместе с незнакомым мне добродушным бородачом, то прикидывал, сколько звонков придется назавтра сделать сегодняшнему имениннику. Перед тем как уложить его, я попытался смахнуть с дивана кипу бумаги, но Северцев с хрустом на нее взгромоздился. Из-под его отяжелевшего зада я все-таки вынул пару стопок. Листы, отпечатанные на принтере, исписанные от руки, фотографии, ксерокопии каких-то планов и схем...

— А что это? — спросил я инстинктивно, хотя тут же осознал, что внятного ответа не будет.

— Что-что! Пакеты такие... Секретные пакеты, во! Ха-ха-ха-ха-ха!

Я уже повернулся уходить, когда он не по-пьяному крепко сжал мое запястье.

— Я! Я, я, я должен был все это... Это... Это обязано быть моим! Моим и ничьим больше!

— Это?..

— Это! Это! Все они должны быть моими, моими, моими!!!

Я не сразу понял.

— Ну, конечно, конечно. Раз должны, значит — твой! И с чего ты к ним так проникся?

Я вдруг заметил, что он смотрит на меня совершенно прояснившимся, исполненным боли взглядом.

— С того, что это рисовал гений.

Тут его вырвало.

Внизу горстка гостей разжигала камин. Не знаю, в чем было больше колдовства — то ли в этих мягких, теплых отсветах пламени и мелодичном потрескивании дров, то ли в кресле, в которое я сел, — но дремота вдруг взяла меня голыми руками. Проснулся уже засветло, причем не сам: кто-то настойчиво пытался меня перевернуть. Квохча и покашливая, Надежда Ивановна вытаскивала из-под меня листы, которые я на автопилоте приволок из спальни.

— Что это такое, Надежда Ивановна?

— Ай?.. А это его почта! Депутатская! — На последнем слове старуха понизила голос и прищурилась. — Следит, чтоб ничего не пропало!

И пока, любовно обхватив отвоёванную стопку, она ползла по лестнице, я пошел следом — проведать хозяина. Утро раскидало по стенам солнечные ошметки. Толком разглядеть повешенное над столом полотно не получалось, но я и так знал его: ученическая копия Шишкина, испохабленная на потеху публике и тем самым спасенная. Вместо того чтобы выдворить ее на чердак, как все прочие плоды упражнений, уже зрелый Северцев добавил на холст еще несколько слоев. Мишек в сосновой чаше больше не было: по стволу на четвереньках ползали пьяные друзья художника. Остатки их дикого пикника валялись здесь же, под деревом. Для самого Валентиныча места в лесной сказке не нашлось, но зато он лежал поблизости — в не менее «сказочном» состоянии: ноги задраны на спинку дивана, а голова свешена вниз. Будить бессмысленно. Надежда Ивановна положила бумаги в угол и

вышла. Только теперь я увидел, какая куча почты там скопилась: не ведал продыху публичный человек. Конверты, оберточная бумага, коробки для посылок, полиэтиленовая упаковка от бандеролей... Любопытно, он хоть когда-нибудь пытался навести во всем этом порядок? Я склонился над этим всем. И слова, как пчелы из открытого улья, ринулись ко мне — тисненными золотыми вензелями на глянце, едва различимо отпечатанные на грязно-серой бумаге, бегло-накорябанные на бланках и с усердием выведенные на клетчатых тетрадных листках старомодным почерком, который пускает стрелу над «т» и вытягивает змею под «ш». «Глубокоуважаемый Николай Валентинович! Имеем честь ...», «Доводим до Вашего сведения...», «Прости, сынок, что так по-простому тебе пишу...», «В ответ на Ваш запрос от 10.04...», «Копию судебного постановления прилагаю...»

— Что ты делаешь, доктор?

От неожиданности я едва не упал в бумажный хлам. Валентиныч, откинувшись на подлокотник, смотрел на меня одним глазом.

— Да ничего, — я тут же поднялся, теребя в руках какую-то коробку.

— Между прочим, — он так и не открывал второго глаза, — все это — боль человеческая!

— А ты эту боль...

Я не успел договорить. Северцев уже лежал на боку и похрапывал. С коробкой в руках я двинулся к двери. С коробкой в руках спустился по лестнице. С коробкой в руках вышел на крыльцо. С коробкой в руках направился к машине. С коробкой в руках... Нет, открыть дверцу с коробкой в руках было положительно невозможно, я, конечно же, захотел высвободить одну руку. И тогда-то понял, что держу коробку. Небольшую, плоскую, из толстого белого картона. На крышке был начертан адрес Валентиныча — официальный, думский. А в левом нижнем углу, мелко-мелко прописан обратный — «Московская область, пос. Озерный край, ул. Центральная...» И какой-то там дом с подъездом и квартирой, за дверью которой еженощно пульсировало чье-то недовольство. А может, застенчиво улыбалась благодарность. Я открыл коробку. Пусто. Только резкий запах бьет в ноздри. И откуда во мне эта бессознательная клептомания?! Пришлось возвращаться наверх.

Когда я доехал до Москвы, уже темнело: пос-

ледный свободный день коту под сраку, а в понедельник — уже дежурство. Да еще Лиза теперь временно — старшая сестра, а мне с этой новенькой париться! Ладно бы симпатичная!.. Разгул злобных мыслишек остановило треньканье мобильного. С похмелья Валентиныч сипел, как водопроводный кран без воды.

— Скажи честно! Только честно, Теодор, понял? Вот... Вот то, что было... То, что, как мне кажется, было... Это правда было?

— Э-э-э... Тут...

— Понятно. Значит, было. Миленько. А и хрен с ним! Плевать! Плевать мне на них на всех!

— Ну...

— Да кто они?! Что они?! Болото! Болото, понимаешь?! Они... Это они засосали меня. Затянули! Из-за этих вот всех я уже... забыл, как пахнет лак, пахнут краски. Хоть все заново!

— Да что ты такое говоришь-то!

— А вот то и говорю! Скоты! Ладно, отдыхай!

И он отключился, не дожидаясь утешительных комплиментов. Я шел и думал, чего больше в этом самобичевательском откровении — удрученности вляпавшегося в кризис творца или профессионального кокетства политика. Запах он забыл! Его даже я забыть не могу — особенно после той коробки.

Нога зависла над ступенькой. Я снова полез за телефоном.

— Слушай, Валентиныч! У меня тут мысль! Только по другому поводу — насчет рисунков этих...

Молчание. Как будто прозвучало что-то неуместное.

— Я подумал... А тебе не могли их прислать? У тебя такая гора этой почты...

Молчание.

— Ну, вдруг откуда-то из нее все это...

Молчание.

— Коль, ты там?

Молчание.

— Коля! Алло!

И тут откуда-то издалека, тихо-тихо, точно с другой планеты:

— Это мои работы, Федя. Мо-и.

Мобильник просигнализировал: разговор окончен. Что ж, тогда сам в себе копайся!

Так я позабыл про те рисунки. Прошел месяц. Два. Три. Лиза вернулась со «старшинства», зима с костяной ногой прохромала мимо. А к апрелю

окончательно оклемался лещ — и мы с приятелем устроили волжский выезд. На обратном пути его пропахшая рыбой машина вдруг стала саботировать приказы. Проезжий доброхот вынес вердикт: «Мозги накрылись. Ищите тягач...» И неопределенно махнул в сторону группки плоскокрыших домов мышинового цвета, сгрудившихся по ту сторону дороги: «В Озерный край суньтесь». Та самая белая коробка вдруг выплыла у меня из памяти, как подлодка из морской пучины. Вот он какой, стало быть, край этот!

Поселок состоял из трех улиц, самая длинная из которых — кто бы мог предположить! — звалась Центральной. А вот озер поблизости не наблюдалось. В семь утра здесь было так покойно и тихо, что несчастье с машиной уже через минуту стало казаться чем-то далеким — почти позавчерашним. Сколь долго ни бродили мы по этой благословенной глуши, ничего похожего на тягач найти так и не удалось. Зато на окраине поселка, у самой трассы, неожиданно отыскался автосервис. Его работники, преисполненные утренней неги, поначалу открещивались от любых квалификаций, но пара солидных купюр выявила в них мастеров мирового уровня. Захворавшее авто загнали в бокс, а нам велели ждать до обеда. Блукая по улицам, мы подошли к местной почте. И поскольку прочие достопримечательности Озерного — магазин и музыкальная школа, также исполнявшая роль дома культуры, — были уже осмотрены, у нас не нашлось оправданий, чтобы исключить почтовое отделение из экскурсионного плана. Правительница его, тучная женщина с длинными седыми волосами, собранными в пучок, полистывала книгу у раскрытого окна — фрагмента умиротворяющей сельской панорамы с полуразрушенным коровником в центре. Где-то за батареей лениво водил пилой сверчок. Рядом с почтовой королевой в полудреме склонила голову юная девушка-помощница — концлагерный скелет с химической завивкой. Вместе они составляли идеальную комическую пару. Налетавший со стороны коровника пахучий ветерок трепал книжные страницы. Солнце веселилось на стеклах конторок. Хотелось есть и остаться в этом провинциальном спокойствии навсегда — да стульев не было.

— Эх, — выдохнул я в мирную тишину почты. — И кто у вас тут только депутатам жалобы тачает?

Начальница повернулась к окну задом, и я

увидел черное родимое пятнышко, которое всемогущая природа — или с высшей целью, или из праздного куража — с математической точностью разместила на самом кончике ее носа. Скелет устремил на меня рыбий, тупой спросонья взгляд.

— А? — почти хором спросили обе.

— Депутатам, говорю, кто у вас тут пишет? И жалуется на такую райскую жизнь...

Скелет уронил ручку. Лицо начальницы вспыхнуло большезубой улыбкой.

— Жалуется? Ни на что мы не жалуемся. А вам чего, молодые люди? Отправить что хотите или так — свататься к Ленусе моей пришли?

Но скелет не подхватывал эстафету веселья. Спицеподобными руками он шарил под столом, а потом вдруг так резко и неосмотрительно выпрямился, что треснулся плечом о выдвинутый ящик.

— Тише, тише! — все еще прихихикивая, тетка погладила скелета по ушибленному месту. — Не покалечься мне тут!

Сквозь обжигающий блеск стекла я разглядывал Ленусю. Выкарабкиваясь из-под стола, девушка отводила глаза так старательно, что этого невозможно было не заметить. А потом вдруг вскочила и проворно ретировалась в подсобку.

Мое любопытство в мгновение ока переросло в изумление. Но тут мобильный приятеля возвестил: машина излечена. Уже на крыльце мы столкнулись со странным существом неопределенного пола. Низкорослый кругловатый человек, едва завидев нас, отшатнулся и поспешил отойти на безопасное расстояние. Лицо его полностью скрывали меховая шапка, непроницаемые черные очки и шарф, намотанный до самого носа, — и это в середине апреля! «Да тут просто цирк уродцев!» — подумалось мне.

Но все-таки на обратном пути я не выдержал.

— Тормозни у почты...

— У-у-у! Не слишком ли юна?

— Не знаю пока...

— Вот это, друг мой, как раз надо знать прежде всего! Побрился бы хоть для начала!

Я вновь взбежал по ступеням солнечного домика. И вновь вдохнул эту ни с чем не сравнимую смесь запахов клея, бумаги и разлуки. Скелет был на месте. Но, едва завидев мою физиономию, опять нырнул в подсобку. Я был раздосадован и заинтригован одновременно. Конечно, это

могло вообще ничего не значить. Она думала совсем о другом: о другой истории, других письмах или посылках. Ее могли засмущать мы — наша разухабистость, ленивая глумливость, с которой мы все вокруг оглядывали. В конце концов, не исключалось, что она просто дура, и... Да никаких «и»! Дура, а дальше — точка.

Но только вопреки расхожим представлениям, будни столичного терапевта немногим уступают в монотонности быту чеховских провинциалов. Просто за калейдоскоп лиц здесь принято расплачиваться дополнительными порциями суеты и раздражения, а слова в анамнезе так же мертвы. Наверное, поэтому я и решился поиграть. Захотелось, чтобы этот хромой казус вдруг расправил плащ таинственности.

Через неделю я снова напросился в рыбаки — но на этот раз поехали на двух машинах. А по дороге назад я провозгласил автономию: мол, делишки еще есть неподалеку. И, не чувствительный к шпилькам, сбавил ход перед Озерным кра...

* * *

...ем глаза посматриваю: нет ли их рядом? Делаю вид, что отсчитываю монеты бабушке у метро, а сам посматриваю. Мягкий плащ и вязаная шапчонка — они все шли и шли за мной, еще на Дмитровке я их заприметил. Наверняка менты! Или хуже! Как же я бежал от них, как бежал! Дмитровка, Садовое, Тверская, Пушкинская... Брюки разодраны, на куртке липкое пятно. Бульвар, Есенин, Тимирязев, чебуречно-пивной смрад перехода. В одном кроссовке похлопывает: он явно затоплен. Снова бульвар, пара бомжей на лавке — я уже ничем их не респектабельней...

Отскакиваю от бабульки и соскальзываю вниз по ступеням «Кропоткинской». В чреве червя, бурящего подземелье, не считаю ни остановок, ни ударов колес по рельсовым стыкам. Я сам — подземелье, которое бурят черви. И в каждом из них — тоже человек, буримый червями с еще более мелкими человечками. Соберись, соберись! Хоть кто-то из человечков да должен знать, куда и как ему ехать! Так сразу, напрямик, наверное, нельзя. Сперва до конца, до «Юго-Западной», а оттуда — обратно.

Надо же, я за всю жизнь так долго не ездил в подземке! За всю жизнь не бывал под столькими равнодушными взглядами. Спасительные двери разрезжаются на «Комсомольской» — и я наконец выскакиваю. Быстрее, быстрее — к эскалатору! Только завидев пряничное здание Ярославского, перевожу дух. Внутри, на табло, мерцают красные буквы — деревни, городки, полустанки... Того, что нужен, нет среди них, но я знаю, как добраться — надо только попасть в нужную электричку. Это последний вариант, дальше — отчаяние. Среди окружившего меня роя названий я начинаю искать одно — «касса». И бросаюсь в толпу, осадившую это крохотное ок...

* * *

...но почты горело целый час после закрытия. Я не понимал! Начальницы нет, клиентов — тоже, письма забрали, штампы проставлены, пролитый на стол клей высох и сковырнут ногтем — чем еще заниматься? Но Ленуся не появлялась. Я вдоволь нагулялся по окрестностям — то один, то в компании все того же бесполого существа в дутой куртке и темных очках. Оно, надо полагать, обитало в одном из соседних домов, а потому периодически маячило на противоположной стороне улицы. И чем свежее становился вечерний воздух, тем сомнительнее и бесперспективнее представлялось мое предприятие.

Но вот она выплыла, разодетая и раскрашенная в пух и прах. Не иначе как на прием к британскому послу собралась. По-деловому застучав каблуками, направилась к остановке. Я — следом. Уже хотел протянуть руку, чтобы тронуть ее за какое-нибудь приличное место, но тут у обочины с лязгом затормозил автобус. Ленуся бросилась к нему, как к возлюбленному после долгой разлуки. По инерции я побежал за ней — и оказался в душном салоне. Тот, кто хоть раз ездил вечером на крошечном 33-м от Озерного края до Кокшина, доподлинно знает: ни дальневосточные сардины, ни незабвенная килька в томате не вправе роптать на судьбу. Им в банках куда просторнее.

К счастью, ехать в апокалиптической давке пришлось недолго. За одну остановку до Кокшина автобусик срыгнул часть пассажиров, среди которых оказался и объект слежки. Я тоже вып-

рыгнул на диво удачно, не столкнувшись с дверью, не порвав одежду и даже — о чудо! — ничего себе не сломав. И все-таки успел ухватить девчонку за руку. Ее мгновенная дрожь, казалось, передалась и моему телу. Думал — закричит. Смотрела так, точно я собираюсь здесь же, на месте, убить ее, расчленить и грязно надругаться над каждым куском.

— Чего вам? Отпустите меня!

— Да подождите же! Вы меня не помните?

— Помню. Чего вам?

— Извините, что я вот так! Просто никак не мог вас на работе застать. Я насчет одной посылки...

— Оставьте вы все меня в покое! Я не знаю ничего ни про какие посылки!

— Но мне показалось...

— Говорю же: мы ничего не знаем! Почему вы все ходите и спрашиваете? Достали!

— Кто все? Что — кто-то еще приходил?

— Приходит! Такой же ненормальный!

— Но кто?

— Откуда я знаю!

— Да как он хоть выглядит?

— Такой же, как ты, — чокнутый! Да отцепись, или я закричу!

Она вырвалась и поскакала за удалявшейся от шоссе толпой.

— Ну хоть приблизительно? — крикнул я, подавшись было за ней.

Не оборачиваясь, она припустила еще быстрее. А я твердо решил, что теперь не отстану. Не сегодня — так в другой раз! Меж тем фонари, поначалу робко мерцавшие, всюду расцвели желтобелым, ясно давая понять: время импровизаций прошло. Я повернулся к остановке на другой стороне дороги. И откуда-то сверху хищной птицей налетел ужас, почти прижавший меня к земле и стиснувший горло. Рядом с остановкой стояло существо в дутой куртке. Впрочем, стояло лишь миг. Едва заметив, что его обнаружили, оно поспешно зашло за размалеванную граффити стенку стального каркаса — туда, где самые лихие пассажиры обычно оставляли пивные бутылки, справляли нужду или проблевывались.

Я не хил и не тшедушен: все-таки армия за спиной. А после практики в тюремной больничке испугать меня крайне сложно. К тому же человек на другой стороне дороги был, наверное, на две головы ниже и вообще мог оказаться женщиной. Но внутри точно кто-то стоп-кран рванул: я был

не в состоянии двигаться. И не сомневался, что странное и дикое создание поджидает меня с дубиной наперевес. Но тут мне несказанно повезло: из леса вышли двое забудды и направились в сторону той же остановки. Я перебежал дорогу и — с алкашеским эскортом — подошел к страшному месту. Никого. А уже в автобусе мне вдруг сделалось смешно: с чего я, в самом деле, решил, будто это двуногое живет в Озерном? Может, из Озерного оно как раз ехало к себе домой? Да и судя по виду, это местный идиот или идиотка. И вполне возможно, что испугалась «куртка» еще больше моего.

Но я заблуждался — глупо и глубоко. Уже дня через четыре «дутый» возник на детской площадке напротив моего подъезда. Да-да, в Москве! Он сидел под деревянным грибочком и смотрел прямо на мои окна. На этот раз я легче пересилил страх: вокруг была родная вотчина, а в прихожей — увесистый молоток. Сперва хотел взять нож, но он — орудие роковое, двусмысленных положений не терпящее. Впрочем, их и не возникло: «дутый» опять исчез до того, как я выбежал. И опять бесследно: даром я дважды обошел вокруг дома. Кто этот странный шпик, было трудно даже представить. Деньги мои — не то чтобы сногшибательные, враги — не то чтобы лютые, а репутация — не то чтобы сомнительная. Я понятия не имел, с чьей зоной интересов вдруг пересеклось мое куцеватое жизненное пространство. Уже не вспоминались ни Ленуся, ни история с посылкой Валентиныча. Я стал то и дело оглядываться — во дворе, на улице, в автомобильных пробках... И все чудилось, что откуда-то из самой гуши народа, из окон ближайшего дома, из машины, стоящей прямо за моей в бесконечной очереди безумцев перед МКАДом, и из-за каждого дерева в соседнем парке устремлен на меня напряженный, внимательный взгляд.

Не помню уже, сколько это продолжалось — может, недели, может, и месяцы... По крайней мере, до тех пор, когда теплым вечером — летним уже де-юре и де-факто — я на выходе из клиники просто не воткнулся в ту же дутую куртку подбородком. Внезапность оглушила: не успел и испугаться толком. Ушанка и громадные очки а-ля Мистер Икс, столь долго тревожившие воображение, вдруг сами собой возникли прямо перед глазами. А затем куда-

то отпрыгнули и — когда я только начал осознать, что происходит, — понеслись прочь. Судя по скорости, которую развил этот невысокий, коренастый человечек, он тоже был ошарашен. По счастью, я быстро пришел в себя. Неоновые отражения в лужах, рев спящих по улицам машин, гомон пьяных от июня компаний — все это помчалось мимо под барабанный аккомпанемент сердца. Человечек бежал, как бегут от возмездия, — не оборачиваясь, втянув голову в плечи. Его шарф размотался и теперь вился сзади косматым хвостом. Прохожие изумленно оборачивались. «Куртка» устремилась вдоль шоссе, яростно протискиваясь сквозь стекавшую к метро толпу. Я вроде был все ближе и ближе, но всякий раз, когда мне оставалось сделать последний рывок, протянуть руку и ухватить человечка за воротник или рукав, откуда ни возьмись напльывала груда торопливых людей, начиналась толкотня — и человечек вновь ускользал.

И вдруг он свернул в полупустой переулок, и... передо мной захлопнулась тяжеловесная дверь какого-то заведения. Беглец проскользнул-таки внутрь. Рванув за латунную ручку, я оказался не то в кафе, не то в ресторане. Играла музыка, за столиками трапезничали, а в конце зала отчаянно суетился мой «герой»: он продирался через чашу стульев, ища другой выход. Неосторожным движением «куртка» смахнул с носа очки, и теперь я совсем отчетливо увидел, что это — мужчина с полными, гладко выбритыми щеками. Сидящие вокруг подняли головы от тарелок и смотрели на него, точно на диковинное блюдо, которое проносят мимо официанты. Я снова прибавил скорости, но кто-то рядом встал, с грохотом отставил стул и перекрыл дорогу. И почти в эту самую секунду от большой компании, шумевшей в углу за несколькими сдвинутыми столами, отделился мужчина. Он дернул моего человечка за рукав и, развернув к себе, дружески хлопнул по плечу. Человечек явно не был готов к всплеску панибратства в разгаре гонки с преследованием: как мышь в кошачьих лапах, он съежился и тупо уставился то ли в бесконечность, то ли внутрь самого себя. А схвативший его мужик, рослый красноморд, властно подтолкнул жертву лицом к столу и гаркнул:

— Не узнаете? Это ж наш Димон! Краса-а-авец!

Резко остановившись, я едва не сел на кого-то вер...

* * *

«...хом хамства стало то, что он прекратил общаться с сыном. Я уверена: все из-за этой проклятой политики. Даже женщина не способна так его довести. Федя, дорогой, прошу тебя! Сделай, попробуй сделать хоть что-нибудь! Ты моя последняя надежда. Он как под гипнозом. На порог пускать не хочет ни меня, ни маму. Мы уже давно не живем вместе, но он все равно не чужой мне человек! Умоляю: хоть ты сходи к нему! Я боюсь...»

Так и осталась эта бумажка в кармане куртки. То сминая ее, то снова разворачиваю: монотонное движение успокаивает. Поезд плавно покачивает на поворотах, а я зажат с обеих сторон преющими телами. То, что слева, — тяжеленный панцирь женщины в годах, — постоянно меня подпихивает. Над головами несется голос коммивояжера. «Уважаемые пассажиры! Предлагаю — пих! — вашему вниманию — пих! — роликовый массажер отечественного — пих! — производства. Сделан из натурального — пих! — дерева. Обладает — пих! — целебными свойствами! Снимает — пих! — боль, отеки, помогает — пих! — бороться с целлюлитом!»

В дверях замаячила серая форма контролеров. Медленно, бубня под нос не то приветствия, не то приказания, они ползут к центру вагона — сжимают в тиски всех, кто не успел ускользнуть. Достают билет. Молодой, лет двадцати пяти, русский парень хмуро его изучает. Потом так же хмуро смотрит мне в лицо.

— Пройдемте в тамбур.

— Но я в кассе купил...

— Пройдемте, сейчас проверим — это быстро.

— С ним что-то не так?

Парень хмурится еще больше. Его лицо уже как испорченный персик.

— Нет, может, все нормально... Ну пройдемте, пройдемте! Так положено.

Я поднимаюсь. Парнишка семенит к выходу. В тамбуре кисеей висит сигаретный дым.

— А что может быть с этим билетом? — гово-

рю я, но контролер даже не оборачивается. Хлоп! — и он скрывается за железной дверью в другой вагон. А обе мои руки стискивают крепкие клешни.

— Тих-тих! Не надо голо...

* * *

...свить у угловой компании получалось громче всех. Пили, тостовали, жевали, держались за руки, смеялись, заглядывали друг другу в глаза, как в последний раз. А я не знал, куда себя деть. Минуты текли — гигантские, нерасторопные, чужие. Заказал кофе — но даже не пригубил и только терзал дрожащими пальцами пакетик с сахаром. Толстый человечек ни разу не обернулся. Но он знал, что я здесь. Он смотрел на меня своей ссутулившейся спиной и складчатый, коротко остриженным затылком. И видел, и замышлял что-то. Все визжало: за столиками — полутрезвые дамочки, за стенкой — бодрые кухонные, предвкушающие близость закрытия, в колонках под потолком — скрипки виртуозов, а внутри меня — разум, поранившийся обо что-то неподвластное его привычным приемам. Толстяк не снимал куртки: видно, его здесь знобило. На вид я дал бы ему не больше сорока. В основном глядеть приходилось на его лысину, но когда он поворачивался в профиль, можно было заметить, что он курнос и румян. Многие, поднимая бокалы, многозначительно посматривали на толстяка, но тот не выказывал ни малейшего удовольствия от здравиц. Наконец медленно, точно стгибаясь под давлением всеобщего гвалта, мой визави поднялся. Я, как мог, напряг слух, надеясь, что он будет говорить хоть немного громче остальных, а шум в зале поутихнет. Но толстяк только что-то крякнул себе под нос, помахал указательным пальцем, а затем вдруг метнулся в мою сторону, на ходу натягивая ушанку. От неожиданности я едва не шмякнулся со стула, но толстый пробежал мимо и даже не скосил взгляда. Качнув стол, расплескав нетронутый кофе, я ринулся к выходу. И уже в дверях вспомнил, что не заплатил. Карман, кошелек, нужная купюра, снова злополучный стол... В общем, когда я выскочил на улицу, искать там опять было некого. Наудачу я пробежал в глубь

переулкa, но, естественно, ни души не обнаружил. Шука сорвала блесну и ушла в камыши. А я потерял сон и начал расставлять сеть.

И он попался. Через две недели — на детскую уловку. По вечерам я включал в квартире свет, музыку, телевизор — мол, отдыхаю дома. А сам в это время сидел в кустах под окнами. Меховую шапку невозможно было прозевать. И я не прозевал: когда он в очередной раз направился к заветному грибочку, я пулей вылетел наперерез. Он отпрянул так неловко, что споткнулся и сел задом в траву — еще сырую после соития с летним ливнем.

— Вот дьявольщина! Ну всегда так, — бормотал человек и силился подняться. Но заметив, что я подошел почти вплотную, вдруг выставил вперед обе коротковатых пухлых руки и вскрикнул:

— Ни шагу, ни шагу больше! Вы и так все прекрасно видите!

Нет, этот господин оказался вовсе не страшен. Он был, скорее, потешен — и потешность кратно росла с каждым жестом, которым он хотел придать себе строгости. Даже я, как ни был встревожен и сбит с толку всеми событиями, все же сделал над собой усилие, чтобы не улыбнуться. Низкорослого, пухлого, неуклюжего — этого субъекта, казалось, и подросток мог свернуть в крендель. Наверное, поэтому я и не стал сразу наседать: немного доблести было бы в том, чтобы, ухватив толстячка за шкирку, одним движением вытрясти из него все человеческое и превратить в ополоумевшего от ужаса хомьяка.

Пухлый господинчик, между тем, встал. На носу его по-прежнему поблескивали исполнинские солнцезащитные очки — хотя все вокруг давно плавало в ночном мраке.

— Вы... Вы... Вы, наверное, догадываетесь, что я неспроста вас искал? — дрожащим голосом произнес господинчик.

— Стал бы я так бегать за вами, если бы хоть о чем-то догадывался...

— Но все-таки вы меня вспомнили!

— Я — вас? Это что — шутка?

— Ой, ну ладно, ладно, не прикидывайтесь!

— Знаете что, уважаемый... Во-первых, я ни хрена не вспомнил, а во-вторых... Вам не кажется, что при вашей комплекции вам лучше быть повежливей? — Мне отчего-то казалось, что я разговариваю не с ним, а с собственным отражением в непроницаемых стеклах его очков.

— Повежливей... Повежливей... — он, точно ребенок, повторял за мной последнее слово. — Да, конечно. Извините. Просто я думал, вы притворяетесь.

— Как это — притворяюсь?

— Ну вот так. Делаете вид, что мы не знакомы.

— Разумеется, мы знакомы. Я целых семь раз видел вашу куртку. Мы старинные друзья!

На мгновение толстяк замер, как глухонемой, не понимающий, что ему втолковывают. А затем — два внезапных порывистых движения — и очки с шапкой оказались на земле. Обнажились испуганные, добродушные голубые глаза и рыжие волосы, обреченно теснящиеся по краям лысины.

— Неужели вы меня совсем не помните?

С этим милым, трогательным рохлей невозможно было быть злым.

— Я вас впервые вижу, Дмитрий.

— Впервые видите, но называете имя...

— Его назвали ваши друзья. Тогда, в кафе. Быстро же вы от них смылись! Они обиделись, наверное.

— Никакие они мне не друзья. Я вообще понятия не имею, кто эти люди.

— Да ну! Обознались?

— Можно сказать и так...

— «Можно»? Дмитрий, в моей жизни в последнее время и так многовато странностей, и я не собираюсь...

— Я не Дмитрий!

— А кто ты тогда, палки-елки?! — Я почувствовал в предплечьях тот нервный зуд, что может в любой момент начать искать себе выход.

Толстяк сорвал с себя шарф — последнее, что закрывало его лицо.

— Ну, посмотрите, посмотрите внимательней! Вы должны хоть что-нибудь вспомнить!

Его взволнованность была столь искренней, что на миг мне даже померещилось, будто и вправду мелькнуло в этом гладком розоватом лице что-то отдаленно знакомое. Но, приглядевшись, я окончательно уверился: не знаю я его. Не знаю до такой степени, что даже неудобно.

— Мне жаль. Ничего не вспоминается. У меня травма головы была. Наверное, это из-за нее...

Толстый вцепился мне в рукав, а его глаза, до этого полные страха, вдруг стали пытливо вглядываться в мои.

— Невероятно! Невероятно! — повторять слова, видимо, было его болезнью. — Вы Бо-

гом мне посланы. Травма, травма... А что за травма? Расскажите!..

— Я что-то и так многовато рассказал! А от вас еще ничего не услышал.

— Да, да, разумеется! Меня... Меня зовут Женья. Евгений... Сей... сейчас... сейчас я постараюсь объ...

* * *

...снить вам ваше положение? Шлялся где-то три дня, на вызовы не являлся... Вы вообще знаете, что за это бывает?

— Вот только не надо, ко всему прочему, в таком тоне! Если у вас есть в чем меня обвинить — обвиняйте. Нет — извиняйтесь!

Серые водянистые глаза следователя не отрываются от меня, тогда как его тело медленно поворачивается на кресле. Влево — вправо, влево — вправо.

— Ну вот. Снова корова. Мы вам услугу оказали, уважаемый. Вы представляете, что могло бы быть, если бы первыми вас нашли не мы?

— А кто же, любопытно? Марсиане?

— Вы его знали не один год. И вам было известно, что он не в ларьке жвачкой торгует. У него, между прочим, фонд, а фонд — это деньги. Много людей заинтересованных. Я понятно изъясняюсь?

— Относительно.

— Ну, а раз так, то повторяю: давайте вы лучше нам сами расскажете — чтобы без лишних неприятностей.

— И что же я должен рассказать?

— А все. Для начала... Для начала, куда вы ехали сегодня, когда вас выловили? — И он торжественно водружает подбородок на постамент сцепленных рук.

А может, правду ему? Сразу всю. Интересно, кто раньше прискачет — конвой или санитары из Кащенко...

— В область.

— Куда именно? Зачем?

— Рыбачить мне там нравится.

— Что-то удочек при вас не было.

— А я по дороге кусты ломаю.

— Вы, я вижу, опять ничего не поняли. Может, задержание оформить? Посидите, подумаете.

— Помилуйте, за что?

— Почему не являлись по нашим вызовам? Где вы вообще были все это время?

Вопросы, которые большинство людей с избытком наполнило бы гневом и возмущением, следователь произносит голосом автомата, объявляющего точное время. Такому самообладанию любой позавидует. Держись, держись, будь достойным противником!

— В себя приходил...

— Станный способ приходиться в себя — сбегать из дому и нигде не показываться.

Я опускаю голову.

— Ладно. Вы были одни в фургоне в момент аварии?

— Уже двадцать раз всем отвечал. Да, я был один.

— Чем подтвердите?

— Ничем, наверное.

— Вы понимаете, что вам может светить причинение смерти по неосторожности? И это не в самом худшем случае.

— Я же говорю: я не знаю, кто это и как он там оказался! Когда пришел в себя, это... Тело уже там было. А кто это? Северцев?

— Вы лучше о себе думайте, а не о теле. Кстати, о Северцеве. Когда его машина там появилась?

— Не знаю. Ее я тоже увидел, только когда очнулся.

— Скажите, пожалуйста, какое совпадение! В столь ранний час он вдруг решил покататься по лесу...

— Это не совпадение. Я ехал к Николаю Валентиновичу на дачу. Видимо, он забеспокоился, когда заметил, что меня долго нет. И поехал навстречу.

— Н-да? А что это вы ездите по гостям так рано?

— Он часто меня вызывает внезапно. Звонит — и все. У жены... У бывшей жены его спросите.

— Мы спросим, спросим. И вообще, еще вернемся к этой теме. Вы точно помните, когда потеряли сознание?

— Ну да. Когда фургон перевернулся...

— Странно. Вас ведь на дороге нашли. В девяти метрах от фургона, если уж говорить совсем то...

* * *

...чно в шпионский роман попал. Нос морщился от кислого запаха обмана, подставы, раз-

водки — всего, что могло стоять за этим странным человеком. Но его неуклюжесть и прищипленность подкупали вернее документов. Что-то оглушило его куда больше, чем меня: он смотрел и не видел, двигался, но не сознавал куда... И вот мы — в темном салоне, а мой новый знакомец укутался в молчание, сосредоточенно глядя на свое приплясывающее колено. Когда я уже раскрыл было рот, чтобы вытащить из него хоть кроху обещанных разъяснений, он заговорил сам. Уже не запинаясь и не делая пауз. Так либо пересказывают заученный текст, либо изливают то, что годами разъедало изнутри.

— Я родился в обычной семье. Рядовой советской, как тогда говорили. Отец — инженер-проектировщик, мама — библиотекарь. Все должно было быть, как у других, — и детсад, и школа, и университет, а может быть, армия... Должно было, но не стало. Когда мама была мною беременна — примерно на пятом месяце, у нее на работе затеяли ремонт. В одном из хранилищ прорвало трубу, и пока сотрудники боролись с потоком, мама случайно схватилась рукой за оголенную проводку. Даже сознание потеряла. У нее потом до конца жизни дергалась рука и постоянно были мигрени. Но вот беременность, роды — все прошло почти идеально. Проблемы начались после. Причем не со мной, я-то здоровствовал. Что-то случилось с окружающим миром. Когда меня принесли на кормление, сестра, поглядев на мое лицо, вдруг сказала: «Ой!» И едва не забрала меня назад. Ей показалось, что она перепутала младенцев и дала маме не того ребенка. На другой день меня пыталась схватить нянечка, которая убирала в палатах. В слезах она умоляла маму отдать ей меня, потому что я якобы был ее внуком, а вовсе не маминым сыном. А когда мама заметила, что врач тоже посматривает на меня и на нее искоса, то тут же выписалась — можно сказать, сбежала. И почти год не спускала меня с рук. Отец ушел сразу. Отчего и почему, я так и не узнал: мама говорить не хотела, а больше спросить было не у кого. Мы ни с кем не общались — даже наоборот: избегали всех и вся. Стоило маме появиться на улице со мной, как начинался бедлам: кто-то бежал за ней следом, осыпая проклятиями, кто-то вопил: «Милиция, милиция!», кто-то, наоборот, пытался обнять нас обоих и увести неведомо куда... В общем, я был

обречен на плен замкнутого пространства, мама — на вечный страх, и оба мы — на скитания. Она уволилась, и из Ленинграда мы переехали в Торжок. Потом — деревня где-то под Тверью. Все в ней было серым — и дома, и дороги, и, кажется, даже люди. Раз я, четырехлетний пацаненок, наплевал на все наказания и страдания — да и выскочил из дома. Немногие похващаются тем, что помнят свой первый страх. А я помню. Мой первый страх — это бородатый дед в драной шляпе. Он поднял палку и с хрипом погнался за мной. Как позже выяснилось, старикашка посчитал меня тем самым недорослем, который пару дней назад удавил его кошку. Мама так и не убедила его в том, что я молод для такой миссии. А вслед за дедом всполошились и все прочие: их смущал странный ребенок, который нигде не показывался. В итоге мы уехали и оттуда. Была еще деревня, потом — поселок городского типа... Именно в поселке я сделал главное свое открытие: если одеться потеплее и держаться от людей на почтительном расстоянии, ничего не происходит! Они не обращают на меня ни малейшего внимания. Главное — не останавливаться рядом надолго. Подбежал — отбежал, подскочил — отскочил! Так я, собственно говоря, и живу до сих пор. Открытие мое тогда поразило маму даже больше, чем меня самого. Она осознала, что надо что-то делать — разбираться, выяснить, наконец, что со мной! Мы переебрались под Москву — мама устроилась уборщицей в Первую градскую. Все вынашивала планы кому-нибудь меня показать: понимала ведь, что я — какой-то уникальный случай если не планетарного, то уж точно национального уровня. Но как показать? Это все равно что хранить дома краденый шедевр Рембрандта или Рублева. В одиночестве наслаждайся сколько хочешь, расскажешь кому-то — и жизнь закончится. Она пробовала почитать что-то по эндокринологии, неврологии, дерматологии... Но, чтобы получить хоть какие-то ответы, требовались исследования — а для них у нее не было ни возможностей, ни базы, ни знаний. И здоровья, кстати, тоже не было...

Здесь его голос вдруг затрепетал, как догорающий в ночи костер.

— Она... Она, — он пытался продолжить, но только всхлипывал. Я молчал, не зная, что говорить и делать.

— Вы поймете меня, — наконец произнес он, немного успокоившись. — Кроме мамы, я почти ни с кем не общался. Если и решался заговорить с людьми, то по крайней необходимости — на бегу, на расстоянии, обрывочно. Они едва слышали меня. Почти все, что я знаю о мире, — все это из книг, из газет... Но они были лишь окнами в мир. Как на выставке: смотри — да не трогай! А мама стала дверью. Она оберегала на улице, утешала дома, научила тому немногому, на что я способен в жизни. Это от нее я узнал, что люди на самом деле не такие... Что они не злы, не агрессивны, и это все оттого, что я пока не совсем здоров. Но я поправлюсь — она не уставала говорить мне это! — и все встанет на места. У меня будут друзья, коллеги, любимая девушка. Уже шестнадцать лет, как мамы нет, но до сих пор почти каждый вечер ностальгия по ее тихому, мягкому голосу... Иногда даже не верится, что я смог прожить эти годы без ее забавных историй, без ее мятного печенья, без ее вечного оптимизма, на который — о, теперь я знаю! — мне не следовало слишком полагаться.

Мама раздобыла какую-то справку об инвалидности, которая уберегла меня от школы, — и я сидел дома. Дружил с книгами, прилеплялся к телевизору. Пока однажды мама не принесла коробку с гуашевыми красками. Они сообщили мне, чему отдам жизнь. Ясное дело, учителей у меня не было. Но были учебники, были репродукции и — что важнее всего! — была уйма времени... Я часами разглядывал известные полотна — вникал в тайны игр света и тени. Лишь кое-что потом смог увидеть в подлиннике. Да, пять или шесть раз в жизни мне удалось побывать в музеях: в будни, утром, обманув билетерш и гардеробщиц... Ну вот. А в той больнице я был всего раз. Мама познакомилась с одним старичком профессором и через какое-то время решила меня к нему отвести — поздно вечером, со всеми предосторожностями. Старичок был радушен. Он с улыбкой нас встретил, долго говорил с мамой, они смеялись. А потом профессор вдруг подошел ко мне поближе — и его улыбка исчезла. Не успела мама двух слов сказать, как он сел на диван и больше уже не глядел в мою сторону. Попросил воды, а еще через пару секунд повалился набок. Мама быстро вывела меня и побежала куда-то по коридору... Как я понял потом, у старичка приключился сердечный приступ. Вы

догадываетесь, что больше меня никто не обследовал. Гипотезы так и остались гипотезами: мой организм работает как-то по-особенному, но как именно — не известно до сих пор. Я невольно провоцирую людей на воспоминания. Естественно, у всех они разные, но я присутствую в каждом. Те за столом, которых вы моими друзьями называли... Кем я для них только не был! Один заявил, что я Димон, с которым он в ПТУ учился. Другой — что ходил со мной в музыкальную школу, которую мы на пару ненавидели. А какая-то дамочка визжала, что я был ее первой любовью и вообще никакой я не Димон, а самый натуральный Аркаша. Хорошо, что они уже здорово накачались и на все класть хотели. Да и воспоминания оказались безобидными. А то иной раз скандалы выходят: то я глаз кому-то выбил, то пять тысяч не вернул... И самое страшное: чем дольше я рядом с человеком, тем больше образов он в себе воскрешает. Посиди я тогда за столом еще, каждый припомнил бы и наше общее детство, и хулиганскую юность, и — не знаю! — может, любовный треугольник на первой работе. Два-три раза судьба сталкивала меня с людьми нос к носу и не позволяла бежать. Как-то застрял в лифте с пожилой женщиной. И выслушал от нее невероятно трогательную историю о брате, пропавшем еще во время Великой Отечественной. Было очевидно: мне слишком мало лет, но у нее даже сомнений не возникло. Рыдая, она рассказывала мне о наших смоленских годах, о крошечном одноэтажном домике, в котором мы жили, о том, как ушел на фронт отец, как началась оккупация, как погибла наша мать, как мы потеряли друг друга... Но лифт все не трогался — и понемногу женщина вспомнила, как мы встретились в 70-х. Как я познакомил ее со своей семьей, как мы навещали друг друга, как мечтали купить дом с участком, чтобы жить всем вместе — одним родом... Как потом заболела и умерла моя жена, как уехал за границу сын, как я переехал жить к сестре, как мы дружно прожили долгие годы, как сегодня она отправляла меня за кефиром, а я не купил — почему, кстати, Пашенька?.. И слова, слова ее звучали так искренне, что на какие-то мгновения я задумывался: а может, это у меня галлюцинация памяти? Может, и вправду обрел я сестру, которую теперь признать бы да и зажить по-человечески — как все то есть? С тех пор предпочитаю ходить по лестнице.

— А вы ни разу не пробовали... Ну, как-то использовать свой дар, что ли?

— Вы называете это даром?!

— Я не то хотел сказать. Не пытались ли вы обрратить все это себе на пользу?..

— А какая тут польза? Представьте человека с пистолетом в руке. Он куда-то целится. На что в этой ситуации может повлиять курок? На направление выстрела? На скорость пули? На судьбу мишени? На что?! Понимаете, я — спусковой крючок. Триггер. Я не могу влиять ни на кого, даже на себя. Только запускаю чужие ржавые механизмы. Как они заработают и где остановятся, мне не то что предопределить — знать не дано! Каждый раз, оказавшись близко к человеку, я весь холодею и молю о том, чтобы он не почувствовал моего присутствия. И не узнал во мне давнего и лютого врага.

— С чего же вы живете?

— О! Хвала эпохе Интернета, чтобы найти прокорм, нынче не нужно и входную дверь открывать. Я, знаете ли, дизайном промышляю. Много чего делаю, в основном для других и за других. Впрочем, иногда и для себя кое-что пописываю. Во всех, кто живет в неодушевленном мире, рано или поздно просыпается самомнение творца...

— Так эти рисунки...

— Вот! Догадались. Да, это я их ему прислал. Долго с собой боролся, но все-таки не победил. Я жил этим столько лет, а толком никто живопись мою и не видел — так, в Сети разве что. А ведь хочется, чтобы все по-настоящему. Чтобы холсты, чтоб вернисаж! Пусть меня там не будет, но все-таки что-то живое! Вот я и решил ему отправить некоторые вещи: как-никак, большой художник...

— Непонятно только, зачем вы копировали его стиль? Он даже принял эти работы за свои...

— Вот как?! Ну, должен же я был привлечь его внимание! Не так уж я и копировал. Просто сделал в похожей манере.

— Странно. Мне тоже показалось, что эти работы — его. Между прочим, из-за них он порядочно психанул...

— Ого! Ну, значит, в них все-таки что-то есть! — Мой знакомый, казалось, даже немного повеселел. — Ну, ну! Что он сказал?!

— Что-что... Хорошие работы, сказал. Даже очень.

— Ай, не зря я все-таки дежурил у почты в Озерном!

— И пугали Ленусю...

— Не знаю, кого я там пугал, кого не пугал... Важно, что ответ на мое послание пришел. И какой! Что работы — мне посланы вы! Мы с вами можем разговаривать! А я так долго к вам подбирался!

И он прикоснулся к моему локтю — с той смесью робости и игривости, от которой мужчину охватывают лишние подозрения. А на меня и без них свалилось столько пищи для размышлений, что мозг попросту не справлялся. Срочно таблетку! Я барабанил пальцами по рулю и шурился, точно подслеповатый, хотя никуда конкретно не глядел. Ко всему услышанному подходили любые определения: «захватывающее», «потрясающее», «изумительное», «ошарашивающее», «пугающее»... Вот только слово «правдоподобное» не цеплялось ни с одной стороны. Успокоившись, толстяк неторопливо обводил меня взглядом, как художник, очерчивающий контур натуры.

— А знаете, я рад вашему замешательству. Несказанно рад. Когда мы шли к машине, я подозревал, что вы меня обманываете. Все-таки вспомнили — и теперь притворяетесь. А сами замышляете что-то. Но нет! Мы уже век рядом провековали. За это время я становлюсь либо родным и близким, либо заклятым супостатом, которому пасть рвут. А вы — надо же! — все так же в недоумении.

— В последнее время это мое привычное состояние. Не обольщайтесь.

— Все звучало недостаточно убедительно?

— А хоть что-то в этой истории может так звучать? Красиво — да. Местами даже литературно. Но доказательств — ни единого.

Он продолжал весело на меня глядеть.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил я, доставая из кармана заветную коробочку.

— Ничему. Просто впервые в жизни сталкиваюсь с тем, кто мне не верит. Обычно мне верят чересчур опрометчиво.

Таблетка озлобленно скребла пищевод.

— Так какое, вы говорите, расстояние должно быть между вами и другим человеком, чтобы он начал что-то напоминать?

— Полметра где-то, не больше. Но я этого не говорил. А зачем вам?

Я продолжал глотательные движения. Это было похоже на схватки перед рождением новой мысли.

— О нет! Вы же не хотите сказать, — он затряс головой. — Нет! Нет, нет, нет!

Таблетка, кажется, добралась до пункта назначения. Я заговорщически подмигнул моему визави.

— Почему нет? Уж это-то для вас не должно быть проблемой...

— Это? Это — проблема всей моей жизни!

— Может быть. Но для меня пока что — только слова.

— Вы понимаете, насколько это мучительно? Дьявольски неприятно даже в лучшем случае — как там, в кафе. А в худшем...

— А чего бояться? Вы со мной. К тому же мы в машине, я даже не буду глушить мотор.

Он опустил голову. Но почти сразу вскинулся — с той нарочитой бодростью, которой человек тщится укрепить себя в тяжелом решении.

— А, к черту! Ради вас я готов на что угодно, — и он снова улыбнулся. — Ну... Ну, пусть будет вон тот, у остановки. В кепке — видите?

— Не надо. Что этот, что те в кафе... Я должен сам выбрать.

Я чиркнул зажиганием и положил на руль ру...

* * *

...ки следователя покоятся на гладкой, без единой кляксы и царапины, столешнице, а сам следователь все чаще опускает на них глаза. Он не раздражается, не нервничает, и глубокая, отрешенная задумчивость не перепачкала его лоб морщинами. Просто пришел час устать — и об этом твердит черное от осенней ночи окно.

— Значится, так! — бросок ручки на стол знаменует конец его колебаниям. — Придется вам пока побыть у нас. Эту ночь — точно.

— Но...

— С вами хотят побеседовать. Высокое начальство.

Нет, нет, все не должно закончиться здесь! Все не должно рухнуть — вот так, не по моей глупости, не из-за дурацкого случая, а просто потому, что эта рыбеглазая блоха решила поосторожничать!

— Я...

— Мы еще не решили, кем вы нам будете приходиться — свидетелем или подозреваемым. Но вы, уважаемый, уже начали бегать — а это нам не нравится. Поэтому давайте вот что! В камеру я вас помещать не буду. У нас есть комната, в которой можно поспать. А кто-нибудь из моих коллег побудет рядом.

— Но по закону...

— Я вам предлагаю по-хорошему, а не по закону. По закону, могу и задержать. У вас ведь с собой никаких документов нет? И главное — вы бегаєте, уважаемый, бе-га-е-те! Это, кстати, для закона тоже основание.

Коридор, несмотря на позднее время, напоминает банку, которую ребенок наполнил всевозможными насекомыми. Здесь бегают, прыгают, ползают, ковыляют — и все с диким шумом, криками и звонками мобильных...

— Видите, — говорит следователь. — Не пустяк это дело...

И в каждом глазу у них — по кусочку растерянности. Нет, не знаете вы главного. Тоже не знаете!

Он вводит меня в комнату, где нет даже окна. Только стол, стул и продавленный диван, на котором покуривает долговязый мужик. Вместе со следователем они выходят за дверь и бормочут там, как бабки-ведуньи. Вот тут, стало быть, и наступит конец. Вызовут всех, кого можно, — и ку-ку! Долговязый, между тем, возвращается: «Ну, вы располагайтесь, я тут рядом, если что».

Да, это та же камера, только хуже. В камере хотя бы есть символизм. Надо, надо что-то предпринять, я не смогу торчать тут в полной безвестности и ждать! Вот только что предпримешь здесь, в тихом центре смерча? Первой голову всегда посещает банальность. Но, поразмыслив, я понимаю, что альтернативу ей искать чересчур долго.

— Извините, простите, я... Это...

В комнате снова объявляется долговязый.

— Мне... мне бы... в туалет, — я стараюсь глядеть как можно более смущенно.

Слегка улыбнувшись, долговязый делает знак рукой: погоди, мол. И, снова пригнувшись, выхо...

* * *

...дит дикость какая-то! Их слишком много, понимаете? Нет! Никак! Ни за что!

Мы оба смотрели на компанию у парапета. Не то чтобы это была компания — так, разные люди собрались поглазеть да пофотографироваться. Слишком уж сказочно, потусторонне смотрятся огни небоскребов, вырастающих прямо из пропасти под эстакадой Третьего транспортного. В центре родного города — кусок чего-то диковинного, ненашинского. Место быстро стало культовым.

— А вы не открывайте дверь. Просто позовите кого-нибудь!

Он долго собирался с силами. Механически то снимал, то надевал шапку. Наконец опустил стекло и тихо, хрипло выдавил:

— Эй!

— Громче, громче, здесь же трасса. Они не слышат.

— Э-э-е-е-ей!

От группы оторвался человек и подошел к машине. Он три-четыре секунды смотрел на Евгения, а потом вдруг воскликнул:

— Peter! How did you get here? How come you found me? Incredible! I'm just...

Договорить ему не дали. Опершийся на крышу здоровяк вдул в салон кубометр перегара.

— Вованыч! Вова-а-аныч! Слышь, а мы чё-та без тебя начали... Ну ты давай, давай, давай!..

Но дверь уже пытался открыть какой-то мелкий огрызок с волосами, выкрашенными в желтое:

— А-а, с-с-сука, наколол меня с «травой»! Ничо, ща все вернешь!

Сзади работала локтями напوماженная старлетка.

— Ой, Лизка, Лизка! Ура! Да пустите же меня к ней!

Машину обступали. Кто кричал, кто скулил, кто смеялся. Я вжал педаль газа в пол.

Какими бы сообразительными мы иной раз себя ни мнили, всегда находятся моменты, чересчур горькие, сладкие, терпкие — словом, слишком насыщенные вкусом, чтобы с ходу быть проглоченными сознанием. Со мною рядом сидел парень, опасно уникальный для этого мира (определение «уникально опасный», кстати, тоже подходило), а я все думал, что

впереди «транспортный крест» и надо успеть принять левее. Осознавать происходящее начал только на Беговой — когда сбавил скорость. Мы ехали в молчании: я был неспособен хоть что-то из себя выжать. Разговорчивость моего знакомого тоже словно бы вылетела в открытое окно. Я остановил машину.

— Ну как, получили удовольствие? — холодно спросил Евгений.

— Может... Может, будем на «ты»?

Он изучающе меня разглядывал. Любовался силой впечатления или снова проверял — не притворяюсь ли... Улыбка на его лице больше не объявлялась.

— Что же делать-то? — я никак не мог разодрать слипшиеся мысли.

— До МКАДа добрось хотя бы! А то я на маминной таратайке в ваш город въезжать боюсь: у меня ведь и прав нет...

— А как же ты тут?.. Пешком?

— Ну, не в троллейбус же влезать!

Заводя двигатель, я механически повторил:

— «Лизка»...

— О, это еще не самое худшее.

Едва мы остановились, как он — нет, нет, нет, нет! — надел шапку и потянулся к ручке двери. А я все не знал, как и что сказать. Вопросов было бесчисленное множество, но все они кричали где-то внутри, а слова никак не придумывались. Ну почему озарение — миг, а отупение — вечность?!

— Расскажешь ему обо мне? — спросил он тихо, не то с надеждой, не то с удрученностью.

Я вспомнил муки Валентиныча и то, как он вцепился в те злосчастные рисунки. Как рассказать ему то, что тебя самого только что поставило на грань сумасшествия?

— Боюсь, что пока...

— Но он же должен как-то узнать, что есть такой я! Что я рисую! Что эти работы... Я ведь даже звонил ему как-то. Но там и разговаривать не захотели: обращайтесь, мол, в фонд.

— Да я бы с радостью! Но он потребует встречи. Как тут быть?!!

Он уверенно стал тянуть за ручку.

— погоди! — отчаянно захрипел я. — Но ты... Ты ведь понимаешь, насколько это все потрясающе. Ты же один такой! Людям...

— А что от меня людям? Ты вон и одному человеку рассказать боишься, а все прочие что — поверят на слово?

Шарф снова почти полностью скрывал его лицо. Он открыл дверцу.

— Да стой ты! — я ухватился за его рукав. — Я что-нибудь придумаю насчет Северцева!

Хотя что тут можно было придумать?

— Извини, я... Я не могу сейчас. Тяжело, — он мягко высвободил руку и метнулся прочь от машины. Секунда — и его не было. Ни в одном из окон, ни в зеркалах. Я выскочил из салона и едва не попал под проносившийся мимо фургон.

Только когда зад снова расползся по нагретому сиденью, до головы дошло, как она сплочовала. Ведь это мог быть он — шанс, долгожданный, великий, тот са...

* * *

«...мый кайф теперь: женский общим сделали. Из-за этой трубы теперь, наверное, месяц на первый этаж ходить».

Долговязый еще держится за ручку закрытой двери, но уже бессильно и обреченно — проходивший мимо коллега, лица которого я даже не разглядел, с легким смешком изуродовал все планы. Сделал их далеко идущими в буквальном смысле: нам теперь тащиться на этаж ниже. Спускаясь, я бегло оглядываю лестничные клетки, коридоры... Нет, тут никаких шансов! Все кишит озабоченным людом.

Дамская комната хоть и лежа в разрухе, а твердит: женщины в этом ведомстве — существа высшего порядка. С пола содрана вся старая плитка, а по углам стоят аккуратные стопки новой — розоватого мрамора. Свежеустановленные унитазы поблескивают по кабинкам обернутыми в целлофан рычажками. Правда, дверцы этих кабинок уже еле держатся, подоконник сорван, решетка отвинчена от окна и стоит у стенки, под потолком болтается голая лампа... Решетка отвинчена от окна!!! Отвинчена!!! Сердце мгновенно перемещается в горло и начинает колотиться там. Оборачиваюсь. Долговязый так и не зашел следом, оставшись дежурить у двери. Пять нерешительных, хрустких шагов к окну. Внутренние створки раскрыты, на месте болтов зияют черные дыры. За окном — забор из бетонных блоков, мощный, но не слишком высокий. В общем, смогу. Обязан смочь! Шпингалет поддается, но неимоверно скрипит. Я все время оглядываюсь.

Но долговязый либо глух, либо занят своими мыслями. Рывок, дребезжание стекла — и одним движением я взлетаю на подоконник. Нос еще не успевает вместить в себя запахи ночной улицы, как я уже повисаю на заборе. И откуда в мышцах вдруг столько силы! Переваливаясь на другую сторону, слышу сзади чей-то крик. Но он не пугает. Только придает энергии. А дальше — дальше лишь сырой воздух в лицо!..

— Федя? — голос Лены в трубке звучит не просто взволнованно. Он — воплощение ужаса.

— Д-да, — нерешительно отвечаю я.

— Где ты? Тебя ведь ищут.

— Лен... Он не объявлялся? Ты ничего не знаешь?

— Господи, да если б знала! — она едва не заходится в рыданиях. — Я думала, тебе хоть что-то известно! Нас почти каждый день мучают. Извели совсем своими допросами!

— Да я сам ничего не понимаю...

— Федь, скажи, что там случилось? Ты там был? Нам никто ничего не говорит. Но я знаю, знаю, что было это тело! А Вадюша...

Трубка разразилась рыданиями.

— Лен, все образуется. Все хорошо будет...

Я отключился. Не знает ни йоты. Да и телефон ее наверняка слушают. Так что в моем агрегате теперь тоже нет про...

* * *

«...ку от таких мест, как я понял, — ноль. Зато смешно. Представляете, мы весь вечер убили в том клубе. Мычание какое-то — вроде как духовная музыка! Мы — на подушках, а кругом — патлатые и небритые человеки. Отвары разливали с просветленными лицами — а-юр-ве-ди-че-ски-е! По мобильному — не моги! Поржать — не моги! Нарушишь чужое кармическое пространство! И вот, только тикнуло одиннадцать и клиенты ушли, эти просветленные — как давай глумиться! «Свалили! Восточные техники закончены! Наливай!» Не заметили нас просто — там же мрак кромешный, только китайские фонарики кое-где. А мы ведь несколько тысяч отдали за всю эту медитацию-релаксацию! Не, не денег жалко! Просто потрясешься иногда тому, какие все...» — он засмеял-

ся, не закончив. По-доброму, без низких саркастических ноток. Валентиныч вообще был в последние дни непривычно весел и беззаботен. Пригласил меня на дачу — снова просто так, без всяких просьб и жалоб. Собрал друзей, пили чай на террасе, слушали истории, бродили по саду. Я окольными путями вызнавал у других, что с ним: может, в партии продвинулся или здание под фонд выбил... Но все лишь губы выгибали: он же вроде всегда такой.

И только когда я стал все чаще и чаще встречать его у себя в районе — гуляющим пешком у Театра армии, — меня осенило. У него же там мастерская! Неужели?.. Не верилось, не мыслилось!

— Что? — спросил как-то Валентиныч. — Староват, думаешь, я уже для любви-то?

И вдруг подпрыгнул на полметра. А когда приземлился, добавил:

— Вот так оно бывает иногда. А те рисунки...

— Твои, которые не твои?

— Мои, Теодор, мои! — его голос звучал спокойно и весело. — Ты прав был: наверное, я просто подзабыл. Но главное не это. Главное, что с них все начинается. Они мне показали, каким я могу быть. Нет! Каким я буду!

Меня тоже почти подбросило вверх. Не только потому, что ко всем нам снова возвращался тот прежний он — уверенный и радостный. У меня теперь тоже могло кое-что получиться. Вернее, у нас. У нас с Лысым.

Я так и звал его иногда — и он ничуть не обижался. Волнения оказались напрасными: мой новый знакомец объявился скоро. Уже через день девчонки из регистратуры, подавляя смешки, сообщили мне, что кто-то все утро названивал и спрашивал «терапевта Федора». Им показалось, я тоже прихотываю, но это я тряса от волнения. Когда в кабинете наконец раздался звонок, я едва не уронил телефон. По счастью, пациентов не было. «Это я. Извини, что сбежал. Не привык ни с кем так долго общаться».

Ну, а дальше — понеслось! Он то звонил каждый день и назначал встречи на пустынных обочинах трасс, то обрушивался внезапно, без всяких звонков — и все оправдывался, все объяснял то, что и так было очевидно: если молчание — золото, то разговор с живым существом — платина в бриллиантовой россыпи. Меня тоже тянуло к нему. Даже головная боль, которая почему-то в

его присутствии мучила чаще, не казалась препятствием. Как любая загадка, он влек магнетически, без всякой рациональной причины. Я прекрасно сознавал, что, возможно, никогда не смогу о нем рассказать — ни Валентинычу, ни кому-либо другому! Но это ничего не меняло. К тому же я был в восторженном изумлении от его познаний — великих без всякой гиперболы. Создавалось впечатление, что его собственная память не имела дна: даты, люди, события, мифы и загадки — в ее недрах умещалось все. А его квартира в Озерном была переполнена холстами. В основном они без рам лежали на шкафах — и Лысый сперва никак не желал их показывать. Только после унижительных моих упрасиваний достал некоторые — «ранние», как он говорил, — работы. Это было точно не похоже на стиль Валентиныча. У того все выходило эпически подробно. Если дерево — то с каждой прожилкой на листике, если человек — то с лицом почти фотографической детальности... Здесь же властвовали оборванные линии. Природа писалась крупными мазками, лица прорисовывались не полностью, а так, что в глаза бросалась только одна черта. Или выражение. В общем, все больше угадывалось, чем виделось. Ты был не наблюдателем, соавтором... И чем дольше эти работы меня гипнотизировали, тем навязчивей было мое желание вникнуть в тайну их творца. Разумеется, надо было подождать со своим предложением — месяц, два, может, и больше. Но раз уж мы так здорово ладили... Я сказал. А он вдруг:

— Ох, не знаю, не знаю! Страшно. Как вспомню того профессора...

— Я никаких профессоров к тебе на пушечный выстрел не подпущу! По крайней мере, пока сам во всем не разберусь. А жить... Хочешь, жить у меня будешь?

Его глаза на миг, казалось, вспыхнули радостью, но он тут же их опустил.

— Да я ведь привык. Боязно как-то.

— Так перепривыкать не придется! Целую комнату — тебе под мастерскую! Главное — кисти в раковине не мой! Или у тебя есть еще требования?

— Вообще-то... Вообще-то, есть, — загадочно улыбнулся Лысый. И тут я увидел, чем на самом деле светятся его глаза. Из них искрами била хитреца.

Он оглянулся по сторонам, как будто кто-то

мог подслушивать нас в машине, стоявшей в полпервого ночи на дороге между лесом и заброшенной стройкой на окраине Озерного.

— Я хочу написать картину вместе с ним.

Пауза расплзлась почти на минуту.

— Это... Как? — я изо всех сил напрягал фантазию, но идея была явно за ее пределами.

— Как-как? Ясное дело, с твоей помощью! Он набрасывает — ты фоткаешь. Он добавляет слой — ты фоткаешь. А я по фото свою вещицу пишу...

— Да как ты себе это представляешь?! Он в свою мастерскую не то что меня — родных не допускает! Да и не пишет давно...

— Ну, прорвись как-нибудь! Попроси нарисовать что-нибудь для тебя. В конце концов, — он пристально на меня посмотрел, — эти исследования нужны тебе! Меня они вряд ли спасут.

— Да! Да! Да! Они мне нужны! Сто, тысячу раз нужны! Но тебе-то на кой черт эта картина сдалась?!!

Он вдруг посерьезнел так, будто сфотографировался на паспорт.

— А вот сдалась, знаешь ли. Что я видел в своем замкнутом пространстве? Что? Мольберт и монитор? Может у меня быть одна воплощенная мечта? Не вернисаж и не слава — так хоть какой-то обрывок реальности!

Почти плакал.

— Нравится мне, как он пишет. Он — как отдушина. Как линия горизонта — пока ее видно из окна, все кажется не таким безысходным. Не хочешь ему про меня говорить — так помоги хоть с этой малостью. И делай со мной что хочешь.

Сперва я, конечно, пригорюнился. Шутка ли — заставить летать птицу, которая давно только бегаёт да копаётся в листве! И тут Валентинич сообщает о своем перерождении. Мир снова становился цветным. Засверкать в лучах солнца ему мешал пустяк: надо было как-то проникнуть в святая святых. Я стал задавать Валентиничу наводящие вопросы и выстраивать намеки — вначале полупрозрачные, а потом прямые и грубоватые. Впустую: он легкой, почти невесомой рукою едва касался моего плеча и произносил что-то вроде: «Ну зачем наблюдать процесс, когда скоро увидишь итог? К тебе пациенты тоже ведь не ради процесса ходят». Или: «Вот когда выставку сделаю — а я сделаю, так и знай! — первым тебя приглашу!»

Но, как это часто случается с подобными ис-

ториями, помог божественный «вдруг». Он привел меня на дачу к Валентиничу, где пахло свежепожаренным шашлыком. Он увлек самого Валентинича беседой с малоизвестным, но невероятно болтливым театральным художником, брызгавшим слюной вперемешку с лестью. Он оторвал от меня телефонным звонком жену хозяина соседнего коттеджа, которая полчаса сбивчиво описывала предъязвенные симптомы. Наконец он временно высвободил дом из-под суетливой опеки Надежды Ивановны: старуха поплелась в сельпо. И вот я снова шляюсь по этим полупустым покоям, заглядывая и туда, куда можно, и туда, куда, в общем-то, не совсем можно (ну да ничего страшного), и туда, куда нельзя ни под каким видом. Коридор, по стенам — рамы с едва различимыми натюрмортами и пейзажами, гостевая спальня, еще одна, спальня хозяина с той же бумажной горой, еще одна гостевая... В последней комнате было расшторено окно, а на его фоне чернело нечто большое и угловатое. Накрытый мольберт! Я почти подлетел к нему. Хотя, даже не поднимая простыню, можно было догадаться, что на полотне: слишком уж пасторальные дали открывались из окна. И поле тебе — уже прибранное, с желтой соломой, и лес вдаль... Только бы он еще не закончил! Но он, как оказалось, едва начал. На карандашном наброске лишь кое-где виднелись первые мазки. Даже об ушедшей жене я не жалел так, как жалел в эту минуту о забытом дома фотоаппарате. С собой был лишь телефон с его смехотворным объективом.

— Н-да, качество, конечно, оставляет желать... Посмотрим, что можно сделать, — сморщившись, как при виде падали, мой толстяк водил стрелкой мыши по экрану компьютера. — Ну, линии вроде как различимы.

— Значит, все?!

— Что — все?

— Моя миссия исполнена, и ты приступаешь?

— Какое исполнена?! А цвет? Откуда я знаю, как он смешает краски? Откуда мне знать, как он вообще будет работать — «алла-прима» или...

— Алла кто?..

— Никто! Ты хотя бы вид из этого окна снял?

— А-а, черт!

— Вот тебе и «а-а»! Думаешь, все так просто? Это начало! А завершать он может вечно! Веч-но!

Я опустил взгляд. Нашкодивший второклашка перед завучем.

— Ладно. Будем надеяться, что страстью к переписыванию он не болеет. К тому же есть еще я! — с театральной горделивостью Лысый постучал себя кулаком по груди. — Но два-три раза тебе все равно придется еще снять все это дело. В прогрессе, так сказать. И будь добр, аппарат в другой раз прихвати посOLIDнее!

— А...

— Не бойся. Помню! Можешь приступить хоть сейчас. Кровь пускать будешь?

— Зачем сразу кровь? Сперва заведем анамнез! Это не больно. Думаю, сумеешь выдер...

* * *

...жать такой ледяной ветер мне не под силу. И нечего надеяться, что привыкну! Поначалу, во всей этой беготне-мешанине, не заметил. А теперь вот отдышался, огляделся — и почувствовал: ни куртки на мне, ни шапки. И зябко, и тревожно, и улицы-переулки вокруг сплошь странные. Так всегда ночью в центре: Садовое вроде где-то совсем рядом шумит, но каждый поворот выводит к новой загадке. Куда дальше, где метро — не сообразить. А ведь соображать надо, причем быстрее! На квартиру, конечно, уже нельзя, в мастерскую — тоже. Пасут, пасут, везде пасут. И на электричку, ясно, уже не сесть. Ох, счастье, что кошелек в брюках! Съездившись старой бабой, я ковыляю в ближайший двор, затем выхожу на улицу и просто поднимаю руку перед проносящимися фарами.

— Э-э, камандыр, далеко!

— А я штуку дам!

— Садыс!

С такой, как у него, печкой, конечно, лучше живется. Веселый — то ли от природы, то ли от тысячи рублей, — водила еще какое-то время произносит речи, сперва в мой адрес, а потом просто себе под нос, но до меня так и не доходит ни единого слова. И вот уже эти слова, шум за окном и шипение приемника сливаются в сплошной гул, мягко, как разогретое масло, затекающий в уши... А потом вдруг слабое, но все более настойчивое похлопывание по плечу.

— Здэс, здэс... Гдэ здэс?

Подпрыгиваю в кресле: домчали. Даже лишне-

го проехали: у почты стоим. Вот она — все та же, до дурноты знакомая россыпь серых домишек! Вот она — все та же грязная, в выбоинах, дорога! И вот он — я, новый, старый, не думавший уже вернуться сюда, но снова скачущий по этой грязи! Дверь подъезда, как водится, на соплях, а угрюмое нутро пахнет куревом и мочой. До клетки второго этажа ведет память. А дальше на лестницу начинает выплескиваться свет — вместе с остатками чужого разговора, гремящего где-то на верхних пролетах.

Квартира — на прежнем месте. На полусогнутых, чтоб не было видно в соседский глазок, крадусь к двери. Стараюсь как можно тише вставить ключ. Только пульс, кажется, все равно уже слышат все этажи. И вот уже нужно нажать на ручку, но я все медлю и медлю: а вдруг?.. Сзади слышатся шаги, и я, резко распахнув дверь, ныряю в неизвест...

* * *

...ность опьяняла. Ту радость сопричастности тайне, что подарил Лысый, я не испытывал никогда прежде. Даже в далеком детстве, когда наловил полный пакет лягушек и шел с другом их мучить. Хотя мучить этого человека было никак не позволительно. Он страдал даже от элементарных процедур: во время забора крови и вовсе побелел, как свежeweылепленный снеговик. Впрочем, и кровь, и лимфа, и моча, и кожные покровы, и героические отряды последних волос на его голове — все, на первый взгляд, было в норме.

Через вторых-третьих знакомых я нашел микробиологов, и они долго разглядывали клетки Лысого на своей высокоточной электронике.

— Что, трудный пациент?

— Нет. Интересный.

— Тогда жди, пока помрет. При жизни ничего не скажешь наверняка.

«Амбулаторка» быстро закончилась, ничего не дав. Настал час тащить пациента к нам. Я намеренно дождался той ночи, когда на вахте был Сёма — дядька столь же добрый, сколь и спившийся. Он безропотно отдал мне ключи, и Лысый попал в нужный кабинет незаметнее, чем бациллы или радиация. И вот я уже натягиваю марсианский шлем энцефалографа на его таковой подходящий для этого шлема череп.

– Расслабься.
 – Уже.
 – Нет, не уже. Слышу ведь, как дышишь.
 – По лестнице долго топали. И страшно тут.
 – А ты не бойся. Здесь – никого. И дверь я запер. Расслабься-расслабься. Уж это точно не больно.

Я нажал на выключатель. Темный экран монитора мгновенно начал штриховаться желтым: это бесновались бета-волны.

– Да расслабься же, говорю!

Он полулежал в кресле, прикрыв глаза. Губы едва шевельнулись:

– Я вполне себе расслаблен. Того и гляди усну.

Но датчики настаивали: там, в черепной коробке, не один мозг, а, наверное, шесть с половиной. И все так напряжены, будто ведут войну со Вселенной и друг с другом заодно.

– А ну-ка открой глаза!

– Открыл.

– Ты...

Меня прервал щелчок. Монитор погас. Я бросился жать на клавиши, дергать провода, шевелил вилку в розетке, поправлял датчики на его голове. Затем вообще натянул шлем на свою. Прибор не оживал.

– Что-то не так? – спросил он с подчеркнутой отстраненностью, почти иронично.

– Пустяки. Просто я только что попал на сорок косарей.

– Да ну?!

Я старательно замел следы нашего присутствия в кабинете и стал надеяться на то, что все останется незамеченным. Но кроме страха, вверх-вниз водившего холодным пальцем по ребрам, в организме зародилось еще одно чувство – вернее, предчувствие. Стало казаться, что в слепых блужданиях я наконец на что-то наступил. Пришлось долго бороться с собой, но за пару дней я удушил-таки жабу. Ведь все оформлялось как благое дело. Заказываю такой же энцефалограф, пользую его как хочу, а потом отношу в клинику. Но вначале все – на себе! Четыре раза надевал шлем. Работает. Работает. Работает. Работает. Прибор, разумеется, – с головой моей все было не так однозначно.

Лысый вновь позволил прилепить ему датчики. Ну, с богом!

– Только помни: не напрягайся! Отдыхай!

Раз, два – щелк! И вот они снова здесь – эти

волны. Опять штормовые: так и швыряет курсы вверх-вниз. Но теперь я даже не успел крикнуть Лысому, чтобы он расслабился. Снова щелчок – и экран тухнет. А у меня темнеет в глазах от ярости. Я даже не стал проверять, можно ли оживить прибор, – как есть, сбросил его со стола. Датчики не сразу соскочили с головы Лысого, и ее рвануло вбок.

– Э, э! Ты чего, доктор?! Не надо калеку докучивать, – произнес он с беззлобной улыбкой.

Взбешенный и разоренный, я заперся у себя. Трещал череп. И тошнило. Но не от резких запахов, теперь постоянно доносившихся из комнаты-мастерской. Тошнило от идеи. Она, как вылупляющийся уродливый страусенок, уже пробила скорлупу и теперь выползала на простор семи ветров. Кому-то прозрение достается за так, а кому-то надо подарить собственным сомнениям десятки тысяч рублей, сотни километров дорог и бесчисленное множество изгрызенных ручек. Я выкачивал кровь из этого беззащитного человека, шарил тщательно вымытыми руками в неизвестности – и все ради того, чтобы понять: я – врач, а не физик, и начинать вообще надо было не там.

Через несколько дней я подошел к Лысому уже с другим прибором. Тоже не дешевым, но в этот раз – мне верилось! – траты были оправданны. Антенка в трех сантиметрах от объекта. Палец – на большой кнопке в центре маленькой коробочки. В мгновения запредельной опасности или запредельного волнения и тело, и сознание почти всегда потрясают своими возможностями. Сколько людей уже признавались в том, что успевали прокрутить в голове всю жизнь, падая с прогнивших мостков в холодную реку! А сколько их, вытаращив глаза, рассказывало: мол, видел, своими глазами видел, как сминается железо, когда машина врезалась в столб! Не мог видеть, а видел – гадом буду! И я тоже видел: стрелка дрогнула. И вместе с нею – я. Стрельнуло: знаю!

По таблице, разметавшейся во всю длину инструкционной простыни, сверил цифры.

– Хм! Электропила, микроволновая печь, принтер офисный... Приличные доли!

– Что это? Что? – заволновался Лысый. – Что за доли? И для чего эта штука?

– «Спокойно, товарищ, спокойно!» – я пел во весь голос. – Потом расскажу. Но очки свои уже сейчас можешь выкинуть: они тебе никак не по-

могают, только привлекают лишнее внимание. Шапка и куртка — тоже так себе защита, если они, конечно, не из никеля. Ты говорил, что приятельствовал с телевизором. Часто включал?

— Да не особо. У нас старый был, работал плохо. С маминой зарплатой, сам понимаешь...

— Ну да. Мобильником ты, надо полагать, тоже не пользуешься?

— Нет, конечно. На что он мне? Да и покупать сложно: паспорт нужен, с продавцами долго общаться...

— Я так и думал! — с этими словами я поднес к нему свою «трубку», которая тут же сообщила о сбое связи. — И голова моя, кажется, тоже от тебя «фонит».

Конечно, я поковырял его еще немного: где-то поколол, где-то поскреб... Но уже по инерции: мысли занимало другое. Отнес свои предположения к одному спецу.

— А может так быть?

Он рассмеялся, потом вздохнул, потом почесал ухо.

— Биоэлектрет с таким сильным и долгоживущим полем? Нет, ну всякое может быть во Вселенной, но...

Вслед за «но» на меня с цепями и кастетами бросились его здравомыслие, научный скепсис и богатейший опыт. А я даже не стал ввязываться в драку — просто ничего не услышал. Ведь может быть всякое, а значит, и такое!..

— Слышал про опыты с гиппокампом крыс?

Лысый оторвался от холста. За его спиной уже всевластно простиралось поле родной Валентинычу Капитоновки, а лес вдалеке поигрывал оттенками желтого. Лысый не мог знать, что за этими прощающимися с теплом деревьями лежит дорога, по которой я уже трижды мотался к мастеру. Чтобы сделать качественные снимки, нужны были веские, сложносочиненные поводы, ибо мастер утонул в неотложности. Уже призывно белели пустые стены двух залов в самом центре Москвы, уже типография метала приглашительные, уже укладывалось в ящики дорогое шампанское, а по даче прохаживались искусствоведы, критики и журналисты. «Хорошие все-таки у него были учителя!» — сказал как-то один из них, разглядывая картины. Возможно, это был просто разговор с вечностью, но я оказался рядом — и откликнулся: «Он же всегда говорил, что нигде особо не учился». Искусство-

вед-журналист-критик снисходительно улыбнулся и шепнул: «Многие нигде не учились. И писатели тоже любят так говорить. Доктор филологии всю жизнь занимался готическим романом, а как сам взялся за перо, заявил, что самоучка. На заводе молотом машет. В рабочем поселке живет. А по ночам пишет интеллектуальную прозу. Или такие вот натюрморты. Оно все так лучше продается». Я улыбнулся в ответ, но, скорее, на автомате: в моих кругах дипломы не сжигали, а вешали на видное место...

— Каким гиппокампом? Опять загадки?

— Крысе вскрывают череп, а жизнь мозга поддерживают в растворе солей. При этом в мозг вводят электроды, которые посылают импульсы. За счет этого усиливаются связи между определенными нервными клетками...

Лысый метнулся в угол комнаты.

— Ты чего?! Ты... Ты со мной такое хочешь?! Ну уж нет! Всему есть предел!

Я рассмеялся:

— Это ты чего?! Кто ж будет тебе череп раскалывать?! Тем более что ты сам это делаешь...

— Я? — он нервно почесал щеку, оставив на ней бурый след краски.

— Да, ты! Прибор, которым я водил вокруг тебя, называется анализатор электромагнитных полей. Я про него не ахти как много знаю, но он мне твердо сказал, что ты в некотором роде излучатель...

— Кто?

— Излучатель. Про поля, надеюсь, слышал? Линии электропередачи, компьютеры, сотовые... Вот если верить этому самому анализатору, то такое поле есть и вокруг тебя. Причем не самое слабосильное. И оно действует на...

— На всех вокруг. Интересно, как поле может заставить человека думать так, а не иначе?

— Дай договорить! Во-первых, не думать, а вспоминать! А во-вторых, поле вообще много чего может! Может менять любые физиологические функции. Давление, пульс, слух, зрение. Может ослаблять внимание, вгонять в депрессию... Даже кожную болезнь вызывает — ты знал? Все зависит от того, какое оно и на что действует. По крайней мере, биоэлектрическая активность мозга от него меняется — а значит, не так, как обычно, работают и память, и внимание, и психика. Это все — то, что мне известно сейчас, когда я погрузился в те-

му и начитался всякой всячины. А теперь — то, что я допускаю. Даже назвал бы это предварительным диагнозом, если бы это касалось моей области знаний.

Лысый бросил кисть и яростно тер руки ветошью.

— Так вот. Я думаю, что твое поле на близком расстоянии способно воздействовать на мозги окружающих — как электроды на крысу. В результате в этих мозгах возбуждаются нейроны, отвечающие за вторичную память. И вынимают из этой памяти... То, что из нее вынимается.

— А что, за то или иное воспоминание отвечают отдельные клетки?

— Нашел что спросить! Не договорились еще на этот счет. Одни считают, что информация действительно хранится в отдельных нейронах, другие — что она в электромагнитном поле, которое производит мозг. Третьи...

— Понятно, — Лысый опустился на диван, как приговоренный к пожизненному опускается на скамью подсудимых. — И сделать, конечно же, ничего нельзя?

— Ну... Ну... Тут надо подумать. Ведь мы знаем теперь, где искать!

Он смотрел в пол, все так же теребя ветошь.

— А ведь мне уже тридцать семь.

— Но...

— Слушай, давно хотел тебя спросить! А как это — с женщиной? Когда по-настоящему...

Я пожал плечами, старательно — наверное, слишком старательно — изображая равнодушие.

— Да ничего особенного. Ну почти так же, как и сам с собой. По крайней мере нам, докторам, все одно.

— Неправда. Я видел. В Интернете, в этих фильмах — там все по-другому.

— Да там актеры! У них понарошку...

— Понарошку?! — он исподлобья посмотрел мне в глаза. — Это моя жизнь понарошку!

Я почувствовал себя освистанным клоуном. И почему я ждал, что он будет ликовать от моего открытия? Типичное заблуждение врачей — да и многих других ученых, наверное.

— Ладно! — вдруг воскликнул Лысый. — Когда там у него вернисаж-то?

— Да уже вот-вот! — я был рад перемене темы. — Двадцать третьего, что ли... Сейчас посмотрю!

— Да я не об этом. Та работа, из спальни, выставляется?

— Не знаю. Но, судя по тому, что он торопится...

— Вот и отлично! Тогда к тебе просьба! Договорились — выполняй!

— А разве я не все выполнил?

— Остался последний штришок!

И, изобразив штришок рукой, Лысый метнул ветошь на ст...

* * *

...ол, кресла, полки, кровать, окно, темное небо в окне, духота и легкий запах соседского курева в туалете. Все точно так, как помнил. Параноидально точно. Стало быть, никто про это место не знает. Здесь будет форпост. Землянка. Здесь буду жда... Я проваливаюсь, не успев даже произнести про себя это столь короткое по форме и столь длинное по сути слово. И не могу выбраться из ямы до следующего полудня. На пути из магазина впервые смотрю туда.

И сразу — шальное: а ну как сунусь? Отгоняю: рано. Но идея — репей. «А вдруг сразу все узнаешь? Или, может, ты просто боишься узнать?» Держусь еще сутки — и не выдерживаю. А там — эх, кто бы осмелился сомневаться! — тот же злой домофон. И нем, и глух закрытый подъезд. Час, а может, и больше, шатаюсь около него, пока, наконец, дверь не открывает девочка лет десяти. Она то ли удивленно, то ли испуганно смотрит на меня своими черными глазами — огромными из-за толстенных линз очков, — а потом исчезает за углом. Ручка двери — в моих торопливых руках.

Чем ближе заветный этаж, тем выше обороты сердечного двигателя. Вот и дверь — железная, незнакомая. А за нею женщина — как вторая такая же дверь. «Кого вам?» И вот тут-то нападает настоящее замешательство: я толком и не подготовил вступительную речь! За спиной у женщины показываются два мужика — огромные и тоже совершенно мне не известные. «Простите. Кажется, ошибся». И, в обратном порядке отсчитывая ступеньки, костерю себя: ну почему, почему ничего не обдумал заранее?! Но вместе со свежим воздухом, очистившим ноздри от подъездной вони, в голову влетели мысли потрезвее: а зачем, собственно, туда так нужно было входить? Даже если там — ОН, что тогда? Быка за рога при всем честном народе? Ты нелеп! Замри хоть на время!

И вот я сновазираю на недо-Ленина. Да, так его зовут. Он виден почти отовсюду. Посреди двора, окруженный с трех сторон рядами окон, взирает со своего постамент на провинциальную сирость маленький Ильич с отколотой левой рукой. Свергнувший в девяностые и восстановленный в начале двухтысячных, он был два десятка раз искалечен и подлатан, сотни раз облит краской и бесчисленное множество раз оплеван и обоссан. В конце концов власти отреклись от вождя: не представляет, мол, культурной, и прочее... Но бдительность и рвение местных коммунистов никогда не позволяли изничтожить его до конца. В последние, аполитичные, годы памятник перестал возбуждать вандалов и к нему уже относились с ироничной нежностью, как к юродивому. Кто-то даже иногда сметал пыль. Вот только во взгляде покрытой шербинами бетонной головы вместо положенной ленинской мудрости уже давно сквозит гоголевская грусть.

Опускаюсь рядом на дряхлую лавочку и замечаю: наблюдают. Нет, «наблюдают» — слишком бесстрастно звучит. Я протагонист на сцене провинциального театра. На крыльце подъезда, откуда я вышел, стоит женщина из той самой квартиры. Рядом — две старушечки. Сразу в нескольких окнах на втором, на третьем, на пятом этажах застыли фигуры. Страх превращает желудок в черную дыру, норовящую всосать в себя не только тело хозяина, но и все пространство вокруг — вместе с памятником, домами и их обитателями. Все скудные силы направлены на то, чтобы не дать повода в чем-то меня заподозрить. Вот так, вот так, посиди немного, нагнись, завяжи шнурок, неторопливо оглянись вокруг, зевни... Шире! Во-о-от! А теперь не спеша поднимайся и... не спеша, кому говорят! И двигай! Да не к своему подъезду! В арку — и из двора!

Так, командуя сам собой, я стараюсь выйти из окружения. Как в танце: все внимание — телу. Но ужас есть ужас. Движения выходят торопливые и несуразные: организм учинил восста...

* * *

...ние манной каши — вот что все это напоминало. Бессильный, простодушный толстяк пытался сердиться! Он прямо-таки полыхал гневом.

— Эгоист! Себялюб! Получил что хотел — все, сполна! А теперь, только-только столкнувшись с первой трудностью, кидаешься в кусты!..

К концу каждой фразы его голос взмывал до таких высот, что казалось: Лысый вот-вот всхлипнет. Чувство смешливой нежности, которое вызвала у меня его истерика, говорило о том, что он давно не знакомый и не пациент, а младший брат — не меньше! Но в запредельном приходится отказывать даже младшему брату. Насчет первой трудности он, конечно, загнул: я всю жизнь бился над трудностями позабористей. Уже на следующий день после открытия стало ясно, что я не смогу, не сумею удержать все это в своей квартире и в своем сознании. Тайна разрывала череп. Как и любому первооткрывателю, мне нужны были соучастники, свидетели, критики, апологеты... Тем более, что я имел гигантское преимущество перед всеми исследователями мира — мою неполноценную голову. А Лысый по-прежнему не желал жить ни мышкой, ни свинкой, ни кроликом. Да еще и огрел меня своей идеей, как обухом по затылку.

— Слушай, давай не тратить нервы на обсуждение заведомо невозможных вещей, — я старался говорить ледяным тоном.

— А что тут невозможного?! Что?! — визжал Лысый. — Ты уже столько раз ездил в этот дом!

— Хорошо, давай оставим пока моральную сторону. Как это выполнить технически? Я ни с того ни с сего вваливаюсь к нему с твоим холстом, ничего не объясняя, бегу наверх, по пути всех расталкиваю, а потом возвращаюсь оттуда с другим таким же холстом — и сваливаю. Так?

— Погоди! Ты же сам говорил, что там подготовка идет! Кругом картины стоят. При таком беспорядке...

— Да откуда ты знаешь, что это за беспорядок и как он выглядит?

— А ты попробайся! Почему ты даже пытаться не хочешь?!

Я устало опустился в кресло: эта оборона была непробиваема.

— Мы, Жень, совсем не о таком договаривались...

— А о чем договаривались? Я должен был написать картину с ним вместе. С ни-и-и-им! А получается что? Просто переписал его вещь? Так я могу и с Бакстом, и с Куинджи, и с самим

Дюрером поработать! Не-е-ет! Тут вся суть в том, что я — соавтор. И раз я не могу оказаться рядом, а ему лучше вообще обо мне не знать, то пусть хотя бы моя картина будет на его выставке. Что, тайная радость — это так много?

— Ну ты же... Ты же сам художник, твою мать! Ты же понимаешь, что это его картина!

— Его?! Его?! — уже прорыдал он. — Да что ты вообще во всем этом соображаешь, чтобы судить?!!

Нет, уж лучше мне было молчать: каждое слово только приближало нас обоих к порогу дурдома. Сев на пол, Лысый тряс плечами. Он даже не отводил в сторону свои красные глаза.

— Много знаешь, да? Конечно, где уж мне с моей жизнью в четырех стенах! Но что-то и тебе, всезнайке, неизвестно!

Он выпрямился.

— Не собирался тебе рассказывать, но, вижу, иначе — никак!

— Если ты...

— Сядь, — рявкнул Лысый.

Я даже оторопел: впервые он пытался повелевать. Зависла пауза, после которой он повторил свой категорический императив, но уже более низким и спокойным голосом.

Окна давно потемнели, а морось добивала в горюжанах остатки оптимизма: улица затихала. Лысый разглядывал свои перепачканные краской руки, словно впервые их видя.

— Я не знаю, как умерла мама. Она до последнего дня оберегала меня от людей, и даже когда приехала «скорая», просила не выходить из кухни. Потом через несколько дней звонили из больницы... Но я не к тому! Просто мне всегда не хватало посторонних. Я уже был взрослый человек, неплохо писал и даже получил первый заказ на иллюстрации для детской книжицы, а разговаривать, общаться толком так и не научился. И всегда искал того, с кем смогу хотя бы нормально объясниться — вот так, как с тобой. Неожиданно для себя я впервые встретил такого совсем рядом. Нет, он был самым обыкновенным типом, просто наши квартиры очень удачно располагались: его балкон — под углом к моему. И мы время от времени перебрасывались фразами. Сперва дежурными — о погоде, о дворовых делах, потом стали что-то рассказывать друг другу... Естественно, я бдительно следил за тем, чтобы ни на улице, ни в подъезде с

ним не столкнуться. А так, издали, мы и лиц друг дружки разглядеть почти не могли.

Так вот, где-то лет четырнадцать назад от этого соседа я узнал о трагическом случае с одним из аборигенов двора. Молодой парень, жил с матерью и тетками, пахал на каком-то комбинате. Ну а по выходным, как это водится, предавался с корешами известному увлечению. Раз они в подпитии вздумали пошляться по крышам. Парень сорвался. И хоть дома у нас невысокие — пять этажей всего — треснул крепко. Когда вышел из комы, выяснилось, что у него амнезия. Полная! Вообще ничего не помнил — ни тятки, ни мамки, ни имени. Подержали какое-то время в больнице, но потом махнули рукой — и отдали родственникам. Ну и, конечно, мне тогда подумалось: это — шанс. Может, парень теперь не будет воспринимать меня так, как все. Терять было все равно нечего, и на следующий день я поспешил в их подъезд. Оделся как полярник, перемещался только бегом, сплел какую-то глупую легенду про почтальона, особо не надеясь даже, что в нее поверят. Просто надо было, чтобы его мать открыла дверь — а дальше все моментально выяснится. Но легенда не пригодилась: от них в тот день выносили какую-то мебель. Квартира стояла нараспашку, из нее непрерывно выходили люди — и на меня никто особого внимания не обратил. Подфартило.

Мистер *tabula rasa* сидел в кресле. Вокруг — родные. Мамаша и тетушки опраивали ему одежду, гладили по голове, все повторяли: «Славонька, Славусик...» А Славонька смотрел в пол, и скулеж его нимало не трогал. Одна рука — как мертвая. А в другую какой-то мужчина — видимо, тоже из семьи, — сунул стакан молока: «Нака, Славян, молочка раздави!» А Славян поставил стакан на пол — и ка-а-ак врежет по нему ножницей! Все вокруг — в осколках, пол и стена — в молоке, тетки визжат... А тут из прихожей — вот ведь еще удача! — грузчики крикнули, что им нужна помощь. И все, кто оставался в комнате, вышли к ним. Я оказался наедине с беспомытным. Тут же снял шапку, подсел к нему вплотную — и представился. Повторил свое имя еще и еще, а потом сел около парня и просидел так минут пять, не меньше. Никакой реакции! И головы не повернул. Тогда я прикоснулся к его черепу — вначале рукой, а потом и своей черепушкой. Но слышались чьи-то шаги, и я спрятал-

ся за занавеску: кресло Славяна стояло у окна. Дистанция была минимальной, и я решился провести рядом с ним побольше времени. А вдруг! В комнату периодически кто-то заскакивал, но тут же выбегал — и я оставался незамеченным. К вечеру грузчики стали рассчитывать, и мне удалось сбежать — в глубочайшем недоумении. С одной стороны, все вышло не так плохо: мое присутствие парня нисколько не смущало — единственный на тот момент случай, если не считать мамино. Правда, мне от такого «феномена» было ни кисло, ни сладко. Но надежда — тварь живучая. Ближе к ночи мне пришлось в голову, что, может быть, со временем его мозги чем-нибудь да наполнятся и я смогу еще разик к нему заглянуть.

А на следующее утро я наблюдал за окном дикую, нездоровую суету. Как будто где-то заложили часовую бомбу и теперь все сбивались с ног в ее поисках. Когда стемнело, люди зажгли фонарики и рыскали с ними. Вечер я продежурил на балконе, дожидаясь соседа. Оказалось, сбежал мой бессловесный друг. Как рассказала его мать, прошлой ночью он проснулся и стал с криками шараться ото всех. Ничего не объяснял, а когда его называли по имени, только злился. Одежда, растолкал близких — и выбежал! Прокричав напоследок, что никакой он не Слава...

— Не Слава? А кто?

— Вот и я сразу спросил кто. А это имя уже знал весь двор. Он назвался Колей. Колей Северцевым.

Я вцепился в подлокотники, точно сидел не в кресле своей гостиной, а в кабинке аттракциона, вихлявшейся высоко над землей на сумасшедшей скорости под мощными порывами бокового ветра. Рот не хотел раскрываться.

— Но почему... Почему Колей Северцевым?

— Потому что это мое имя. Так меня зовут, — Лысый глядел мне прямо в глаза. — Извини, что сразу не сказал. Но ты тогда ведь и не поверил бы, правда? Какое-то время я порывался его найти! Только где? Как? Тем более что из меня, с моими-то «особенностями», сыщик еще тот — ты уже убедился. А потом стало страшно. Что может случиться, когда встречаются двое с мозгами навыворот, трудно даже предположить. Решил, судьба у меня такая: всегда быть наедине с собой. А потом он понесся вверх. И понес туда же мое имя. Оставив мне только болезнь.

— Но теперь, почему именно теперь ты решил с ним связаться?

— Я увидел его картины.

— Картины?..

— Да. Их написал гений.

Нехорошо застучало в висках, и я снова полез за коробочкой. «Да нет, это просто вранье», — откуда-то из глубин перепуганного тела еще пытался пробиться робкий глас здравомыслия. «В вашу первую встречу, в машине, ты тоже думал, что все — вранье», — глушил его глас эмоций.

— Ты спроси у него, — вдруг произнес Лысый, будто ловя мои разбегающиеся мысли. — Спроси про Озерный край. Теперь понимаешь, что у этого холста чуть больше прав, чем тебе казалось?

И он уже совершенно спокойно разглядывал мою перекошенную физиономию.

Что тут скажешь? Повез, повез я картину. И не столько потому, что Лысый отказался от каких бы то ни было опытов, сколько из-за реакции Валентиныча. Уж слишком она была «политической». Я — ему: а точно ли ты из Новошахтинска, и, мол, гораздо ближе есть некий поселок, где много твоих поклонников... А он будто вообще не слышит вопроса. Я повторяю, а он снова глухого изображает. Не припомню, чтобы он с друзьями в таком духе не общался! Вот и стал холст Лысого, как вторая «запаска», верным пассажиром моего багажника. Конечно, в редкие посещения дачи Валентиныча ничего выгореть не могло. Надуть Лысого тоже не получилось бы: в доказательство подмены он требовал картину мэтра. И тогда я навязался Валентинычу в помощники при перевозе работ на вернисаж. Он подивился моей услужливости, но не более.

Я одолжил у приятеля фургон, в который мы и сгрудили все выставочные вещи. В нем же я спрятал картину Лысого. Сложность состояла только в том, чтобы заполучить нужное время на поиск заветного полотна: дотошный Валентиныч сам загружал картины, да еще и поехал следом в сопровождении нескольких машин. И речи не могло быть о том, чтобы затеряться где-нибудь на лесной дороге. Но тщание мастера помогло там же, где могло сгубить. Когда мы приехали на место, Валентиныч обхватил самую большую картину, затащил ее внутрь — и застрял там минут на сорок, осматривая залы и негодуя на цвет стен, который оказался не снежно-белым, а бежевым. Я все сделал безукоризненно:

поле и лес Валентиныча остались лежать в салоне за сиденьями, а поле и лес Лысого отправились на вернисаж. Уходя легким после сброшенного ярма, я все-таки снова бросил мэтру пару слов о провинциальных почитателях.

— Вот что ты пристал, а? — вдруг рассмеялся Валентиныч. — Да знаю я этот Озерный край! Они мне два года писали. Раз даже телевидение какое-то мелкое туда поехало. Но не нашли ничего! А у тех и доказательств никаких! Только фотографии парня какого-то. Ну да, похож слегка на меня молодого, и что? Он, по-ди, сам мыкался где-нибудь по соседству.

Обратно ехал — руки так и приплясывали на руле. Ни да тебе, ни нет! Ведь писали! Совпадение? И почему он ответил через такую паузу? Пока одна часть сознания сопротивлялась невероятному, другая уже выискивала в поведении Валентиныча хоть что-то, связывавшее его с Лысым. Но ничего не обнаруживалось: он не слыл ни затворником, ни истериком. Лишь ремесло их обоих роднило. И кто-то из них врал. А Озерный край звал, чтобы я снова вер...

* * *

...нулся далеко за полночь. До темноты бродил по окрестным перелескам, прячась от чужой зоркости, острого слуха и животного обоняния. Сбежал бы, да некуда. К тому же я должен хоть что-то узнать. Хотя бы то, что уже ничего не узнаю. Свет зажигать страшно. Комната заполнена тусклыми отблесками и тишиной ночного двора. Донесли или нет? С одной стороны, кто здесь вообще меня знает? С другой — «менты» уже доказали свою вездесущность. О дреме и помышлять нечего, и до утра я подрагиваю под пледом. Ближе к полудню организм капитулирует. И медленно меркнут солнечные зайчики, гонимые по потолку сверкающим металлом машин с улицы.

А затем — через секунду ли, через век? — кто-то словно вгоняет в уши тонкие сверла. Разлепляю веки. Комната снова темна. Не понять, как, откуда вошел в меня этот пронзительный, резкий звук. Но тут со стороны входной двери начинается слышаться неясный шорох, и я догадываюсь: в квартиру звонили. Неужели кто-то сдал? Шорох сменяется металлическим лязгом: дергают за ручку. Не долго, не настойчи-

во, а так — два-три раза, будто запоздалый гуляка проверяет, точно ли уже закрыт ресторан. Затем становится тихо. Крадусь к светящейся точке глазка — и прикипаю к ней, задержав дыхание, как погружающийся ко дну ловец жемчуга. И едва не вскрикиваю от неожиданности. Как ни искажает линза силуэт за дверью, его я узнаю всегда. Мозг еще пытается заняться аналитикой и понять, как меня вычислили, но... Рука уже вертит ключ в скважине!

И вот он, этот момент! Мы глядим друг на друга, и теперь я все знаю. Но едва делаю шаг навстречу, как он вдруг срывается с места.

— Эй! Э-э-эй! — крича, я бросаюсь следом.

Удрать ему не удастся: слишком тяжело найти в темноте кнопку домофона! Когда он наконец нажимает ее, я уже повисаю на нем. Из подъезда вываливаемся вместе, и я первым падаю со ступенек. Он запутывается в собственном плаще и грохается еще менее удачно, перевернувшись через голову. Не успеет встать! Один прыжок — и я уже рядом, а он только поднимается на локтях... и в этот момент какая-то неодолимая сила подхватывает меня сзади и просто бросает на асфальт, точно тюк с мукой. Прижатый сверху чем-то неподъемно тяжелым, успеваю увидеть, как две темные фигуры волокут моего преследуемого прочь от крыльца. На какое-то время вся группа теряется из виду. А когда меня поднимают на ноги, вижу, что темные уже отпустили добычу. Один из них что-то возбужденно кричит в «мобильник».

— Опаньки! — выдыхают мне сзади в шею горячий воздух. — Типа нашелся наш герой, что ли? И жив-здоров, каже...

* * *

«...тся вам, что древние крепости — самый возмутительный на свете мираж? Они вот так красуются вдалеке, парят себе в небе со своими изящными башенками, в которых так и мерещатся то отважные рыцари, то их обворожительные дамы сердца. Но заглянешь внутрь — и нет там ничего, кроме, извиняюсь, центнеров птичьего помета...» Худой сутулый старикашка с козлиной бороденкой и зеленым платочком на шее спрутом обвил юную девушку и, таскаясь с нею от картины к картине, не давал ни малейше-

го шанса на побег. Открытие было в разгаре. Винючник уже произнес краткую, проникнутую самокритикой речь и теперь давал интервью какому-то журналу о досуге. Гости бродили по залам с наполненными фужерами, разглядывая полотна, — кто с оценивающим выражением знатоков, кто с восхищением подхалимов, а кто просто с видом вежливой заинтересованности, приличествующим модным местам. Я же разглядывал самих гостей: тема искусства за последние месяцы мне, прямо скажем, немного приелась. Вокруг шептали: «Будет, будет...» Ожидали приезда кого-то монументально-значительного — то ли министра, то ли председателя чего-то, то ли вообще Самого. А я ждал понедельника. Ждал Самого и ждал понедельника. Глазел вокруг — и ждал понедельника. Попивал воду — и ждал понедельника. Дня, когда я приподниму пыльную завесу безвестности над чудом Лысого.

Мимо степенно прошествовали сразу три поколения дам света: увитая янтарем кучерявенькая бабуля, ее долговязая дочь с подтянутыми щеками и бриллиантовой россыпью на измученной соляриями шее и девчушка лет четырнадцати — вся в черном. Да, я все-таки нашел относительно безопасный способ свести моего диковинного приятеля с учеными кругами! В качестве первого круга я выбрал нашего хирурга. Угрюмца, который еще в юности ампутировал себе чувство юмора. Над анекдотами не смеялся, на робкие шутки, с которыми больные хорохорятся, не реагировал, телевизор не смотрел... Даже на собственном пятидесятилетии он улыбнулся лишь пару раз и оба — жене. У такого точно не было в лексиконе слов типа «розыгрыш» или «подначка». Так же стопроцентно предсказуем, как в желуде стопроцентно предсказуем дуб. Рядом две полные кумушки энергично обсуждали кого-то отсутствующего: «А ведь ему уже за сорок! Вот ты, я, Танька — да кто угодно! — приходим с работы домой. Кто детьми занимается, кто исторические книги читает, кто еще что... Этот каждый день — с тусовки на тусовку, с тусовки на тусовку! Так и хочется спросить: ты для чего живешь, Боря?»

Чтобы сразу выжечь любые подозрения со стороны хирурга, я попрошу его самого выбрать ассистента, не сообщая мне имени. Даже двух ассистентов — так научней! А местом эксперимента станет рентгеновский кабинет. Ну, или проце-

дурная, если будет свободна. У двери в следующий зал женоподобный молодой человек в шарфике поверх сиреневого пиджака кричал прямо в ухо другому женоподобному молодому человеку в толстом свитере — да так, чтобы слышали оба зала: «Твое неприятие постмодернизма уже само по себе есть постмодернизм!» Лысый войдет в одно помещение, а мы будем наблюдать за ним из другого через смотровое окно. К Лысому присоединится один ассистент. Потом я его выведу — и заведу второго. Конечно, невозможно предугадать, как они оба среагируют, но тут без риска никак. Небритый парень с убранными в хвост длинными волосами раскачивался перед спортивного вида очкастым блондином и поигрывал бокалом в руке: «Не-не-не, поверь мне, областные — самые борзые. Москвички — пафосные, но они имеют право, да и пафос этот — наносной, пыль в глаза. Приезжие понимают, что они здесь на птичьих правах — и не рыпаются. А эти на полном серьезе строят из себя богинь только на том основании, что Москва, дескать, от них через дорогу. Отсюда вся их спесь — и это при полном отсутствии прописки». Уже сейчас было ясно, что хирург немногим больше моего разбирается в электромагнитных полях и нейронах, но он станет первым, кто хотя бы что-то узнает. И подтвердит тем, кто будет дальше. Ведь кто-то же должен быть дальше. Валентиныч, судя по всему, увлекся — не то интервью, не то молоденькой барышней, которая его брала. Он бегал с нею от картины к картине и истоиво размахивал руками, а девушка кивала в такт. Дело оставалось за малым — снова заманить в клинику Лысого. Но, учитывая все мои заслуги... Что он там творит? О Боже! Да пустите же, я врач!

Девушка из журнала верещала, будто ее насильовали семеро. Валентиныч облокотился о стену и рвал воротник рубашки, пуская кататься по полу блестящие белые пуговицы. Лицо мокрое, багровое...

— Окно откройте! Коля, где-нибудь больно? Грудь болит?..

— Это... Это... Не может, — он тянул меня за рукав. — Не может...

Вместе с обслугой я вывел его в какую-то комнату и захлопнул дверь как раз в тот момент, когда за спиной завязывалась потасовка гостей-сердоболов с щуплым телевизионщиком, вздумавшим включить камеру. Валентиныч не те-

рял сознания и по первым признакам не производил впечатление человека, стоящего на краю смерти. Да, пульс его подскочил аж до ста двадцати, но немного погодя пришел в норму. Не успела приехать «скорая», как мэтр уже снова был на ногах. Еще пара минут на переодевание — и он сам на белом коне вылетел из каптерки, грозно отослав эскулапов восвояси и велел продолжать празднество. Политик обязан держать удар, даже самый подлый — от собственного тела. И держал он блестяще — все вокруг видели. Внезапный приступ аллергии на чей-то парфюм — и точка! Казалось, лишь мне заметны посиневшие губы и побледневшие щеки. Гости мгновенно разделились на истинно светских (сделали вид, что вообще ничего не заметили), просто светских (улыбались хозяину торжества и разглядывали картины, но время от времени мастерски перешептывались, не поворачивая голов) и невоспитанных (открыто косились и пожимали плечами). Я остался до закрытия. Значительный не приехал: позвонил, поздравил и обещал «как-нибудь». Я следил за Валентинычем, но он уже не давал никаких поводов для тревоги. И хоть я считаю себя наблюдательным, признаюсь: не сразу сообразил, что к чему. Просто не понял, куда нужно смотреть. А нужно было — не на Валентиныча и не на гостей. Мне и в голову тогда не пришло глянуть на место, где свирепствовала «аллергия». Место нашей с Лысым картины. Я осознал это уже вечером, когда увидел, как ее снимают со стены.

— А с этой что? — спросил я как можно более непринужденно.

— Потом поговорим, — бросил Валентиныч, захлопывая дверь машины.

Меня прошиб пот. Неужели заметил? Неужели догадался, что я с этим связан? Ясно, свое дитя ни с чьим не спутаешь! Но когда он успел взглянуть во все до мельчайших штрихов?..

— Нет! Невозможно! — кричал Лысый. — Я же все так тщательно...

Он только что по потолку не бегал.

— Сам посмотри — такая же! Точно такая же! — и уже в тридцатый раз он тыкал в картину Валентиныча, стоявшую у двери в моей прихожей. — Уж я-то в этом понимаю!

— Что мне от твоего понимания?! — ревел я, стискивая виски.

Впутал меня в мерзейшую историю, возмож-

но, лишил друга, а теперь еще набрался наглости что-то доказывать. Вышвырнуть бы его отсюда, да только не мог я! Не из жалости. Отнюдь. Сквозь оглушающие трубы ярости, сквозь визгливые скрипки обиды тихой, баюкающей флейтой пробивался голос рассудка: то, что он виноват, тебе только на пользу; сейчас его и надо брать, а еще лучше завтра — пусть ночку помучается! Чувство вины и вправду как-то ужало Лысого. Наутро мне казалось даже, что я в квартире один, — так он заскромничал. И действительно уже ни в чем не мог отказать — принял встречу с хирургом как неизбежность. Так что мне крайне досадно было узнать, что у хирурга умер кто-то из родственников и он умчал в Соликамск как минимум на неделю.

Все эти дни я, конечно, пытался дозвониться до Валентиныча, но его телефон неизменно был выключен. Поначалу я не слишком тревожился: все-таки и занятой государственный, и творец-хандрец в одном флаконе. Но где-то в следующую среду девушки из регистратуры вручили мне конверт, который им передала какая-то грустная женщина. В конверте оказалась записка от Лены: она сообщала, что с Колей неладное. Он перестал общаться и с ней, и с сыном, и вообще с кем бы то ни было. Бросил дачу, съехал на квартиру, где уже несколько лет не бывал, и никого к себе не впускает. И поскольку я, в свою очередь, был флаконом, в котором смешались статус друга и медицинский диплом, кому как не мне было возглавить штурм этого бастиона.

Одной рукой я комкал записку в кармане куртки, а другой без устали жал на кнопку звонка. Потом стал колотить в дверь кулаками, кричать и грозиться выбить. С перил посвешивались темные, безликие головы любопытствующих. Наконец из-за двери раздался тихий голос. Не от страшных секретов тихий, а от жуткой, невыразимой усталости. Я заявил голосу, что принес срочную новость, которая изменит его взгляд на вещи. И действительно, я уже давно решил все рассказать — только подбирал последние, самые деликатные эпитеты. Дверь распахнулась. На меня глядели два налитых кровью глаза: «Ну, заходи». И вокруг сомкнулась такая плотная темнота, что показалось, будто я потерял сознание. Вероятно, все шторы в квартире были наглухо задернуты и ни одна лампочка не горела. Темнота пахла густым перегаром. Судя по тому, что мои ко-

лени уткнулись во что-то мягкое — скорее всего, диван или тахта, — я досеменил до комнаты. Темнота молчала — и молчала долго. Я все сидел, боясь неловким движением или случайным словом спровоцировать нехорошее. Как говорить с абсолютным мраком? Было непонятно, ни в каком состоянии Валентиныч и ни где он. Может, остался в прихожей — и спит на полу...

— Ты меня вообще-то хорошо знаешь? — прогремев совсем рядом, голос заставил меня вздрогнуть. Оказалось, Валентиныч тоже сидел на диване.

— Ну, более или менее...

— Ни более и ни менее! А просто ни фига! Поэ-тому ты и стал мне другом. Друг — это человек, который согласен хоть что-то о тебе не знать.

Я решился.

— Коль, на самом деле я кое-что все-таки...

— А ты вот помолчи все-таки немного, о'кей? — гаркнул Валентиныч, почти что сбросив меня на пол волной перегара. — У тебя была возможность узнать кое-что, но ты сказал, что я дуркую!

— Коль...

— Что — «Коль»? Опять про Озерный, да?! О'кей, я из Озерного — радуйся! Что дальше?! Ты хоть знаешь, что это за парень был у них на фотке? Ты знаешь, кем я там был? А никем! Меня вообще не существовало!

Руки свело судорогой. Конечно, события готовили меня к тому, что я услышал. Но это не мешало страху смыкать кандалы. Мозг стал телевизором, потерявшим сигнал спутника: привычная, домашняя картина мира распалась на отдельные цветные квадратики, уступая место хаосу. А Валентиныч продолжал — и с каждым словом голос его отвердевал, как с каждой минутой отвердевает бетон.

— Это была какая-то гадость. Наркота, а может, и еще гаже... Не знаю, как долго длилось. Однажды я очнулся и понял, что не помню, кто я, где и зачем. Вот так! Вообще ничегошеньки не помню! Сажу в какой-то комнате с желтыми занавесками, вокруг — люди... Но кто они, чего хотят?! А в голове — точно голос чей-то. И все твердит: Коля Северцев, художник. Будто кто-то рассказывает мне мою жизнь. Художник! Я — ха-ха! — потом не то что рисовать — карандаш правильно держать не мог! Всему пришлось заново учиться! В общем, я больше не хочу туда возвращаться! Но тот человек, тот,

другой я... Он откуда-то все равно прорывает-ся. И я боюсь! Эти странные работы...

Диван трянуло — это Валентиныч вскочил.

— Ну как, доктор, такое ты вылечишь?!

И он зашелся в истерическом смехе. А потом ухватил меня за руку и потащил в прихожую.

— Все, ты удовлетворил свое любопытство! Теперь уходи!

— Коль, подожди! Мне нужно...

— Ничего тебе не нужно! Все, я говорю! Иди! — и он захлопнул за мной дверь комнаты.

Уйти я, разумеется, не мог. Надо было только собраться с мыслями — и выложить ему все. Я нащупал выключатель. И, оглядывая освещенное тусклой лампой помещение, вдруг увидел картину — ту самую. Она стояла у стены, ничем не прикрытая. Да, точная копия, не придрачься. И поле, и лес, и небо такое же по-осеннему просторное... И тут в правой части панорамы, у дальней кромки поля, я заметил это. Сперва казалось, что глаза просто обманывают: долгое сидение в темноте, волнение, усталость... Но они не обманывали. Это было там.

— Ах ты су...

* * *

...ка! Что здесь делаешь?

— Да он не соображает ни фига! Харэ его месить!

Слизываю с губ теплую кровь. Затылок гудит: успел испытать на прочность стену дома. На ней — ни единого окна: мы стоим с торца. Точнее, стоят они, я удерживаюсь в вертикальном положении двумя парами рук.

— Что — харэ? Он молчит, паскуда!..

Получаю еще один удар по лицу.

— Так, кому говорю?! Закончил! Молчит — и пусть молчит пока. Мы еще не знаем, нужен он нам или нет.

Хватка с обеих сторон ослабеваешь, и я валяюсь наземь. Сознания не теряю, но все вокруг — как за запотевшим стеклом. Внезапно людей становится больше. Меня подхватывают под руки и заволакивают в машину, где я, судя по всему, все-таки вырубаясь. Потому что когда мир снова обретает яркие тона, я уже полулежу в кресле светлой комнаты. И откуда-то издали доносится до меня голос: «...и врач вас посмотрит, да я и так вижу: ничего страшного!»

Поднимаю голову — и узнаю того самого следователя. Все на том же крутящемся кресле.

— Вот видите, как нехорошо бегать. Все равно вернулись — да еще и с намятыми боками. Перестарались местные коллеги, ну да они и его не сразу признали. Теперь-то вы нам все сами расскажете, верно? И что там у вас на дороге было, и за чем сейчас за ним бежали. Расскажите! Тем более, что оснований запереть вас в камеру у нас предостаточно. Хотите в камеру? И так вижу: не хотите.

И следователь улыбается. Следователь в приподнятом настроении. Следователь ухватил фортуны за причинное место. Следователя вот-вот разорвет от переизбытка гормонов счастья.

— Теперь-то понимаете, что мы специально не стали тогда за вами гнаться. Решили посмотреть, куда вы нас приведете. Вот вы и привели. И отпираться теперь — себе же делать хуже...

Он еще лопочет что-то наставительное, но голос его затихает, точно кто-то невидимый крутит регулятор звука — то ли у него на спине, то ли на затылке, то ли вообще управляет следователем с пульта. А во мне все громче звучит мой собственный, внутренний голос, сперва нашептывая, а потом криком крича то, что так не хочется слышать: «Теперь знаешь!» И это правда. Теперь знаю...

Дверь распахивается — и влетает она. Это, видимо, ее образ — верхом на ветре. От неожиданности следователь привстает.

— Еле... Елена Вадимовна! Как вы себя чувствуете?

— Да при чем здесь я в самом деле? Где мой... мой муж? Почему к нему не пускают?

В мою сторону даже головы не поворачивает.

— Елена Вадимовна, тут, собственно, вопрос. Это же, сами понимаете...

— А-а-а, то есть этот, — не глядя, она указывает в мою сторону пальцем. — Этот важнее, да?! Да кто он вообще такой?

— Но... подождите, это же врач вашего бывшего супруга!

Вот теперь точно всё! Она медленно поворачивается в мою сторону и впервые смотрит — даже не на меня, а сквозь меня, будто бы я весь сработан из стекла.

— Врач? О-о-н?! Нет уж, нашего врача я знаю! Он худой шатен с бородкой. А этот... вы что, не видите, что он маленький, лысый и толстый? Вы, видно, совсем сле...

* * *

...пой дурак! В своем первооткрывательском экстазе я уже не только перепахивал чужие жизни, но и в любой момент мог перепахать свою собственную. В ярости я вылетел от Валентиныча, так и не продолжив разговора. И ехал вышвырнуть Лысого из всех жизней сразу. Может, даже поддать ему пару раз побольнее — в зависимости от того, как он себя поведет. А как он может себя повести, я уже прикидывал: либо начнет нудно обосновывать свои права на минимальные авторские «отступления», либо опять разрыдается, жалуясь на судьбину. Но того, что ждало меня дома, я предвидеть не мог. Когда я ввалился в дверь вместе с картиной — ее я, пользуясь ситуацией, попросту спер, — внутри правила тишина. Он не просто ушел — слинял, прихватив свои пожитки и одну из моих теплых курток. И хотя это было именно то, чего я хотел, все внутренние соки вскипели: как так?! По какому праву?! Я прыгал по квартире туда-сюда, злясь то на себя, то на Лысого, то снова на себя...

На часы посмотрел лишь когда на столе завибрировал мобильник. Полвторого. Время, прямо скажем, не для «салют, как дела?». Поначалу подумал: Лысый. Но в трубке рыдала Лена. Она вдрызг расквасилась: лопотала что-то, глотая слова вместе со слезами, а я никак не мог вникнуть в смысл оставшихся междометий. «Он... С ума...», «Крушит...», «Режет...», «Он...» Я бросился к машине, даже не заметив, как она вдруг скособочилась. Догадался, только когда руль повело вправо, а движок принялся тужиться, точно под грузом чемоданов и толстых теток. Ублюдки! Сразу два колеса! Но с другой стороны дома, во дворе, стоял фургон — я еще не успел вернуть его. Слава богу, моего пузатого спасителя никто не тронул! Сквозь ночь я мчал к мастерской Валентиныча. И бил, бил, мысленно тысячу раз бил себя кулаком по лбу за то, что поспешил сбежать от него.

У мастерской колотилась в припадке Лена. Даже через полуоткрытую дверь было видно, что внутри больше не пахнет гармонией: приют муз осквернен жесточайшим разгромом. Самого Северцева там уже не было. Я сунул Лене корвалол и понесся на дачу — единственное место, где он мог сейчас находиться. Свет там горел почти в каждом окне: Надежда Ива-

новна была начеку и знала даже о моем приезде. «Нет, не объявлялся! Ох, беда-то, беда...»

Дождаться его и начинать разговор при старухе не хотелось: состояние Валентиныча было как никогда далеко от предсказуемости. Пришлось устроить «засаду» на подъезде к Капитоновке: дорога эта и днем почти пустая, а ночью — тем более. К тому же любая машина с легкостью ее перекрывала. Ждал долго. Где-то рядом выводила заунывные, исполненные безнадежности трели одна из последних птиц, еще не сбежавших от грядущего холода. Будто вспоминая какую-то мелодию, она неустанно повторяла три ноты. Полуморозец осеннего утра заставлял то включать, то выключать зажигание. Когда я уже начал подремывать, нужде тоскующей птицы вдруг стал сопровождаться другим, не похожим на пение звуком. В конце салона что-то ворочалось. Тяжелое и неповоротливое, оно проползло по полу и взгромоздилось на сиденье позади меня. Ход конем. И в зеркало смотреть было не нужно.

— Извини, но спина затекла невозможно! Хорошо я все-таки придумал, а?

— Что х-х-хорошо? С машиной?

Я не знал, что делать. Увидь я его на улице в Москве, тут же бросился бы выдавливать ему глаза. Но здесь он был слишком неожидан и непривычен — как супергерой трехмерного блокбастера в черно-белом кино. Его просто не должно было тут быть.

— Да нет, это чепуха все. Заставить человека бояться собственных картин — как тебе замысел?

— Сильно. Но непонятно зачем.

— Темен ты все-таки, братец. Про кишки все знаешь, а про души — ни фиги. Я каждый день ждал, что ты с ним вместе вернешься. Что ты скажешь ему, что он узнает, увидит...

— И я тебе, конечно, был нужен только для этого?

— А что делать, если к этим людям иначе — никак? Что делать, если вы все оберегаете их от слабейшего ветерка?! С ним не то что встретиться, ему дозвониться невозможно, а почта... сам знаешь, как до него дошла почта. Думаешь, я одну посылку с рисунками отправил? Да их, наверное, за эти годы с десятков было! И в каждой — письмо. Только, видно, его депутатское величество письма эти теряло, не читая. Даже для тебя он был дороже! Ах, не дай

бог узнает! А я тебе не друг, а крыска лабораторная! Что, скучновато без крыски-то, а?

— Я же помочь хотел...

— Да чем ты можешь помочь?! Оденешь меня в спецодежду электрика, закатаешь в металлический лист, а по периметру выроешь ров с водой? Кто тебе сказал, что поселиться в пробирке — моя главная мечта?!

— А какая у тебя мечта?

— Сказать ему правду.

— Я, как видишь, тоже пытаюсь это сделать. Только менее подлым способом.

— Подлым?! — взревел Лысый. — Не смей учить меня морали! Я его создатель! Все, что он делает, — мое! И не хрен вам всем лебезить перед этим куском глины!

— А ведь говорил, что он гений! Врал?

— Придурок! Я и сейчас считаю его гением. Абсолютным. Но он — гений не по праву!

— Разве так бывает?

— Бывает, знаешь ли! Как с дворянством. Ему ни за что ни про что — «золотая благодать», а он на что ее пустил? Напомнить?!

— Он теперь другой!

— Благодаря мне другой! — вопил Лысый. — Опять благодаря мне! И моим рисункам!

— Но ведь ты его стиль копировал!

Вдруг Лысый с размаху треснулся лбом о приборную панель. Затем еще и еще. После третьего удара он затих. И в этот миг в далеком далеке, у той черты, что отделяет землю от неба, зажглись два желтых кошачьих глаза. Лысый выл, не поднимая головы:

— Я не копи-и-и-и-ировал! Просто я... Я уже не могу-у-у писать иначе. Не умею! Пока он набирал известность, я посмеивался. А потом вдруг мне стали нравиться какие-то его вещи. Эта манера... Подробная. Вот, думал, у того Северцева берут, у этого — нет. Тому заказы всегда, этому — почти никогда. Может, это я недосматриваю или недописываю? И начал понемногу дописывать. На него озираться. Сам не заметил, как стал сверять каждый штришок. Однажды утром понял, как невыносимо работать. Он просто не дает. Он слишком велик. Каждую вещь начинаю с подозрений: а вдруг он сделал бы иначе, лучше? Устал, устал бороться с каким-то вторым собой, который все время смотрит из-за плеча...

— Но разве не так же создаются все вещи — книги, музыка, картины?

— Именно! Именно! Только в конце тот, второй «я», обязан умереть!

Фары светили уже в двух сотнях метров. Да, это, кажется, был Валентиныч. Я завел двигатель. Встречная машина сбавила ход и протяжно, нервно просигналила. Лысый поднял голову.

— Он, да? Вот и дождался!

— Стой! Ты...

Но он уже рвал ручку двери.

— Все! Теперь тебе ничего не изменить. Пойми, я не против Северцева-депутата, Северцева-отца и любого другого Северцева. Хочу только, чтобы больше не было такого художника.

— Как бы не так! — я газанул и резко крутанул руль влево. Фургон подпрыгнул на кочке. Пейзаж в лобовом стекле повернулся на девяносто градусов и померк. Когда он вспыхнул вновь, его наискось перечеркивала трещина. С левого боку — хотя это уже был не бок, а крыша фургона, — что-то злобно скрежетало. Кровь норовила залить глаза. Лысый, завалившийся на меня, со стонами пытался вышибить ногой лобовое стекло. Руль и сиденье стали тисками, не дававшими пошевелиться.

Лысый наконец выбил стекло и стал медленно выползать из салона. И, пока он отдалялся, какая-то неумемная часть меня на миг — вот безумие! — снова стала жалеть о том, что я навсегда теряю это чудо природы. Когда он шмякнулся на траву, скрежет стал яростнее — и вдруг в углу моего заваленного на бок мира я увидел нависший над машиной столб, деревянный столб с фарфоровыми изоляторами. От него в разные стороны разлетались искры: это оборвавшийся провод нахлестывал своих еще целых, но натянутых до предела собратьев. «Эй, вы живы?» — раздался сверху голос Валентиныча. Лысый словно услышал команду: преодолевая сопротивление своего полного тела, он отчаянно пополз на голос. Я попытался крикнуть что-то вроде: «Коля, беги!» Только задел локтем гудок на руле, который полностью заглушил все издаваемые мною звуки. Сплевывая кровь, я принялся выкарабкиваться. Стекланная крошка впивалась в руки, но я этого почти не чувствовал. Мне уже удалось почти полностью выползти из кабины, когда раздался крик. Отчаянный, неистовый, страшный, но главное — лишенный какой бы то ни было рассудочности. Он походил на полуживотный вой — такой издают в му-

чительном сне, из которого никак не вырваться. Я что было сил рванулся вверх — и увидел их. Лысый стоял на коленях на краю кювета, а Валентиныч склонился над ним. Я не понял, кто из них кричал, да и не время было разбираться: последний, превосходящий все человеческие и нечеловеческие возможности бросок... И тут сзади оглушительно хлопнуло, а меня окатило горячей волной. Столб, вместе с проводами и снопом искр рушащийся прямо на них, — последнее, что я увидел перед провалом в нич...

* * *

...то тут не намекает на жизнь. Ни дивана, ни тахты, ни даже табуретки. Один нескончаемый дощатый помост, на котором я уже провел ночь. И, кажется, еще проведу. Видишь, что ты наделал?

— А что я? Это столб наделал. Кто ж знал, что он такой хлипкий...

— Хлипкий — не хлипкий, а садануло крепко. Триста восемьдесят вольт — или сколько там у таких линий? Обычно такое убивает. А я вот как-то... Пришел в себя, когда вокруг уже была куча народу. Сперва с перепугу шарахался ото всех: не понял, что вдруг стал человеком.

— Человеком — может быть! Но мною-то ты точно не стал!

— Это само как-то... Я еще не понимал, как дышать, а они — уже с расспросами-допросами. Твое имя просто первым в голову пришло. Ну, мое, согласишься, в тех обстоятельствах было бы самым неудачным вариантом. Потом уже додумался добавить, что документы сгорели. Эти теперь тут напускают на себя инквизиторский вид. Что, такое страшное преступление?

— Нет, наверное... Я вообще не про то. Ты сразу его назвал, потому что знал уже?..

— Нет, что ты! Я под брезент не заглядывал! Ведь до последнего скакал по всем этим лестницам, комнатам, дворам! Надеялся: не твои ботинки! Видишь, что натворила твоя правильность? Игрался в науку, сделал меня кроликом, но при этом — при этом тебе еще хотелось оставаться хорошеньким. Я желал гораздо меньшего — всего лишь, чтобы этот человек хоть на миг испугался себя, как я всю жизнь боялся себя... Не дергайся там, с ним все в порядке. С такими всег-

да все в порядке. Он в уме, в сознании и, кажется, скоро вернется к своим фундаментам и комитетам. Все это время, как оказалось, сидел в Озерном, у своих вновь обретенных родственников... А у следователя глядел на меня со странным выражением: испуг, смешанный с состраданием. И все порывался выбежать. Но я больше не в обиде. Знаешь, под тем столбом, за миг до того как я лишился всех своих гадко-волшебных свойств, у меня сбылась самая древняя мечта. Впервые человек вспомнил... меня. Именно меня, я знаю: он вдруг взвыл, как тот самый Слава из нашего двора! И в Озерном я ждал, что он хоть что-нибудь спросит, но он не решился. Может, так и не поверил до конца. Честно говоря, я и сам уже несколько дней с упованием хватаюсь за живучую мыслишку о том, что ничего не было. Вообще ничего! Я всегда жил как все, а нынче просто умом помутнел и взялся за опасные забавы с чужим именем. Вот представь: все это кто-то мне внушил — нарочно или исподволь! Как идея?

— Как песок на простыне. Спать можно, но всегда что-то будет мешать.

— Знаю. Картины, да? Угу. Две наши близняшки-идиллии. Так и стоят там, в квартире. Правда ведь — беглому, поверхностному взгляду не различить? Только бдительная обстоятельность заметит. Истукан виден из всех окон двора в Озерном — и из моих, и из его, так что я даже не думал. И притулил-то его, нашего безрукого больше-

вичка, с самого краю, к дальней кромке поля — а он сразу заметил. Зоркий художник, дальновидный политик! И везучий халявщик, которому опять лучше всех. Тут удивляются моему равнодушию. Не знают, что мне, как тому государю Ивану Антоновичу, не привыкать к заточению. Да и выйти теперь не лучше, чем остаться. Здесь — всего лишь жесткие доски, а там... Там новая, неожиданная жизнь. Оплаченная по особому тарифу. В ней едва ли еще возьму кисть.

— Почему едва ли?

— Потому что надо бежать.

— От кого? Люди тебе больше не опасны...

— Ты знаешь от кого, Федя. Думаешь, моя тень скакала все эти дни по земле и воде только потому, что я хотел кого-то найти? Я не просто искал, я... спасался. И спасаюсь до сих пор, и не могу спастись. Потому что ты — везде! В окнах, на экранах, в щели, которую делает эта хитрая дверь КПЗ... Все эти дни я вижу твое лицо, слышу твой голос. Ты обрушиваешься в сознание на полуслове — и я то заново проживаю нашу недолгую жизнь бок о бок, то представляю твою собственную... Ты въелся в меня сильнее, чем я въедался в других, — словно это ты, а не я, был излучателем. Теперь я и вправду та самая крыса с электродами в мозгу. Прости, прости меня наконец! Ослабь силу тока! Выйди из головы!

□

Юрий Юрьевич СОЛОМОНОВ

родился в 1977 году в г. Кемерово.

Окончил факультет журналистики МГУ,

кандидат филологических наук.

Работал в газетах и на телевидении.

Печатался в журналах: «Литературная учеба»,

«Полдень, XIX век», «День и Ночь» и других.

В «Севере» публикуется впервые.

